

1  
БСЧ

Ж.А.КОНДОРСЭ  
ЭСКИЗ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ  
КАРТИНЫ  
ПРОГРЕССА  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
РАЗУМА



СОЦСЕНА 1939



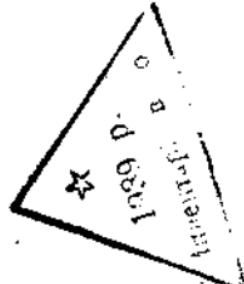
КОНДОРСЭ  
(1743—1794)

1  
N-64

ПЕРЕВІРЕНО  
2005

Ж. А.  
КОНДОРСЭ

1743 ~ 1794



53206/42

ПЕР

OUVRAGE POSTHUME  
DE CONDORCET

**E**SQUISSE  
D'UN TABLEAU  
HISTORIQUE  
DES PROGRES  
DE L'ESPRIT  
HUMAIN



1795

Ж. А. КОНДОРСЭ

1957



СКИЗ

ИСТОРИЧЕСКОЙ

КАРТИНЫ  
ПРОГРЕССА  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

РАЗУМА  
ПЕРЕВОДЕННО  
1822 г.

ПЕРЕВОД  
И. А. ШАПИРО

1952



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА 1936

37100 | us.

18 866

Редактор *A. Дворцов*

Техредактор *B. Морозов*

Художник *И. Литвишко*

---

---

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Жан Антуан Кондорсэ (1743—1794 гг.) известен как представитель французского просвещения XVIII в. Его философские и социологические взгляды имеют ближайшее родство со взглядами французских энциклопедистов.

Кондорсэ, как и французские энциклопедисты, признавал мерилом общественного развития человеческий разум; в вопросах философии он шел по проторенному Локком пути; в вопросах экономики и политики он развивал идеи физиократа Тюрго.

Помимо общих черт, свойственных французскому просвещению, у Кондорсэ имеем ряд интересных

мыслей как в вопросах философии, так и истории. Заслуживает внимания его «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», в котором он развивает свои исторические взгляды.

В историко-философской мысли нового времени Кондорсэ может быть признан родоначальником теории прогресса человечества. Никто из его предшественников с такой глубиной и широтой мысли не обосновал идеи развития знаний, идеи буржуазного прогресса и совершенствования человеческого рода.

В «Эскизе» и других работах Кондорсэ выступает ярким апологетом буржуазного прогресса. Он нападает на феодальные учреждения, на тиранию, на деспотизм, на религию, на систему религиозного воспитания. Он горячо отстаивает равноправие женщины и требует реорганизации всей системы общественного воспитания. Кондорсэ яркими штрихами набросал идеологическую программу буржуазии периода ее юности, периода ее борьбы с феодальными общественными отношениями за утверждение капиталистического строя.

Кондорсэ окружал ореолом почести и славы пытливый, проницательный человеческий разум. Современная буржуазия, сделавшая своим знаменем террористическую диктатуру фашизма, выступает против «притязаний разума». Устами своих идеологов и политиков она заявляет, что «в человеческой истории в целом нет никакого смысла» (Шпенглер), что «интеллигентность опасна. Ум— опасность для формирования характера» (Геббельс).

Кондорсэ восторженно встречал технические изобретения и открытия своего века. Идеологи современной буржуазии проповедуют возврат к средне-

вековью, восхваляют примитивные орудия труда, мечут громы и молнии против индустриализма, против технического прогресса.

Кондорсэ видел источник счастья и прогресса человечества в свободе, в достижении полной гармонии между эгоизмом и альтруизмом. Современная буржуазия сеет повсюду идеи насилия, террора, зверского порабощения трудящихся масс.

Кондорсэ звал народы к установлению содружества и равенства наций и рас в то время, когда буржуазия в своей борьбе против феодальных отношений особенно нуждалась в поддержке широких народных масс. Он верил, что наступит время, когда «тираны и рабы, священники и их тупые и лицемерные орудия будут существовать только в истории и на театральных подмостках». Современные правящие классы, опираясь в ряде стран на фашистских головорезов, разжигают национальную рознь, шовинизм, подготавливают новую войну народов, проявляют звериную ненависть к пролетариату, ведут бешеную травлю против народов СССР, построивших социалистическое общество. Современная буржуазия ликвидирует все то, чему она поклонялась в годы своей юности, она повернулась спиной к своему историческому прошлому, к «властителям дум» ее молодости.

Практическая деятельность Кондорсэ протекала на общем фоне первой буржуазной революции во Франции. Еще задолго до революции 1789 г. он развивает большую научную и публицистическую деятельность. Работы по геометрии, интегральному исчислению и астрономии выдвинули Кондорсэ в ряды членов Академии наук. С 1773 г. он в про-

должение ряда лет занимает пост секретаря Академии наук; в 1789 г. избирается в Парижскую коммуну, где ему поручается переработка плана организации муниципалитета. В 1790 г. Кондорсэ организует политическое обозрение «Библиотека общественного деятеля», выступает в нем с рядом философско-политических статей, сотрудничает вместе с Сиесом в «Журнале общества 1789 г.» В 1791 г. избирается в Законодательное собрание, принимает активное участие в его работах сначала в качестве секретаря, потом вице-президента; участвует в комиссии по выработке конституции. Не будучи согласен с политикой Конвента, он составляет свой проект конституции и не прекращает публичных выступлений против якобинского руководства республиканской Франции. Конвент отвергает его проект и отдает распоряжение об аресте Кондорсэ. Скрывшись в доме вдовы скульптора Вернэ, Кондорсэ пишет свое главное философско-историческое произведение «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». В марте 1794 г. Кондорсэ покидает свое убежище, вскоре после чего его задерживают и направляют в тюрьму Бург-ля-Рень. Кондорсэ, желая избежнуть публичной казни, в тюрьме принимает яд. Так оборвалась многогранная жизнь политического деятеля, историка и философа Кондорсэ.

Научная и социально-политическая деятельность Кондорсэ сыграла крупную роль в развитии французской буржуазной мысли. В целом ряде статей, докладов, проектов социального переустройства Кондорсэ выступал защитником и представителем взглядов и интересов буржуазии. Он не был в лагере «искренних и доблестных республиканцев». При всех

своих колебаниях в сторону революционной демократии и частичных разногласиях с жирондистами Кондорсэ оставался в их лагере, шел в одной шеренге с Бриссо и другими вождями жирондистов. В статье «Праздник народов в Лондоне» Энгельс дал исчерпывающую характеристику политических взглядов жирондистов, в том числе и Кондорсэ. Жирондистов „...обычно выдают за «искренних и доблестных республиканцев». Я не могу разделить этого взгляда,—писал Энгельс.—Мы, конечно, не можем отказать им в нашем восхищении их талантами, тем красноречием, которое отличало лидеров этой партии... И мы не можем,—я, по крайней мере, не могу,—читать без глубокого волнения об ужасной преждевременной смерти госпожи Роллан или философа Кондорсэ. Но при всем том жирондисты не были людьми, от которых народ мог ждать спасения от социального рабства... Жирондисты колебались между королевской властью и демократией; они тщетно пытались путем сделки обмануть вечную справедливость. Они пали, и их падение было заслужено. Люди железной энергии раздавили их, народ смел их со своего пути” (*Маркс—Энгельс*, т. V, стр. 34—35).

Кондорсэ является крупным идеально-политическим вождем буржуазной Франции XVIII века. И понятно, ни в какое сравнение с ним не могут идти вожди фашистской буржуазии и нынешние идеологи капиталистических стран. Их удел—славить и оправдывать—фашистские изуверства, обскурантизм, преследования научной мысли и жестокие насилия над трудящимися массами. В противоположность современным фашистским идеологам Кондорсэ славил

и защищал исторический прогресс, всемерное накопление человеческих знаний и горячо восставал против лжеучения, тьмы и невежества.

Теоретическое оружие Кондорсэ—это оружие буржуазии, ломающей феодальные препоны на путях к собственному политическому господству. Центральное место в ее теоретическом арсенале занимала *теория естественного права*. Кондорсэ кладет ее в основу своей научно-общественной и практической деятельности. Он отстаивает единство исторического процесса, его закономерность, взаимное влияние культур различных народов, развивает и пропагандирует идеи физиократов; разделив весь исторический процесс на десять эпох, он придает крупнейшее значение последней—десятой эпохе—эпохе утверждения капитализма. Во всех социальных построениях он являлся идеалистом, и только наподобие мудрых догадок иной раз встречаются у него материалистические моменты.

Таков в самых кратких чертах идеально-политический облик Антуана Кондорсэ.

Выпуск в свет «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума» имеет целью ознакомить читательские круги с главным философско-историческим произведением Кондорсэ, представляющим крупное явление в идеином наследии французского просвещения XVIII века.

---

---



---

---

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Будучи в изгнании, Кондорсэ предполагал обратиться к согражданам с изложением своих принципов и своего поведения как общественного деятеля. Он набросал несколько строк, но, вспомнив тридцать лет полезной работы и множество статей, в которых он в период революции атаковал беспрестанно все уставновления, противоречащие свободе, отказался от бесплодного оправдания.

Чуждый всяkim страстиам, он совсем не хотел пятнать свою мысль воспоминаниями о своих преследователях; и в величественном и продолжительном одиночестве он короткий промежуток времени, отделяв-

ший его от смерти, посвятил работе общей значимости и способной выдержать испытание времени.

Именно эта работа сейчас представляется читателю. Он (Кондорс.—Ред.) в ней упоминает о большом числе других работ, в которых долгое время оспаривались и утверждались права людей. В настоящей работе суеверие получило решительные удары, методы математических наук, примененные к новым объектам, открыли новые перспективы политическим и моральным наукам; испытанные принципы социального счастья получили развитие и выражение в доселе неизвестной форме. Наконец, в ней всюду встречаются черты той глубокой моральности, которая изгоняет слабости самолюбия, черты неизменных добродетелей, перед которыми нельзя не испытывать благоговейного глубокого уважения.

Пусть этот оплакиваемый пример самого редкостного таланта, пострадавшего за родину, за дело свободы, за прогресс знаний, за плодотворное использование их в интересах цивилизованного человека, возбудит полезную скорбь в государстве.

Пусть эта смерть, которая ни в какой степени не может служить в истории для характеристики эпохи, внушит непоколебимую преданность правам, нарушением которых она явилась.

Это будет единственной данью уважения, достойной мудрого, который под мечом смерти мирно размышлял об улучшении себе подобных. Это будет единственным утешением для тех, кто имеет своим объектом его привязанности и кто признает всю его доблесть.

*От издателя Гара и Кабанис*

Ж.А.КОНДОРСЭ

 СКИЗ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ  
КАРТИНЫ  
ПРОГРЕССА  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
РАЗУМА



---

---

## ВВЕДЕНИЕ

Человек рождается со способностью получать ощущения, замечать и различать в своих восприятиях составляющие их простейшие ощущения, удерживать, распознавать, комбинировать, сохранять или воспроизводить их в своей памяти, сравнивать между собой эти сочетания, схватывать то, что есть между ними общего, и то, что их различает, определять признаки всех этих объектов, чтобы легче их понять и облегчить себе процесс новых сочетаний.

Эта способность развивается в нем под воздействием внешних вещей, т. е. благодаря наличию известных сложных ощущений, постоянство которых, выражают-

щееся в тождестве их соединений или в законах их изменений, не зависит от него. Он упражняет также эту способность посредством общения с себе подобными индивидами, наконец, при помощи искусственных средств, которые люди, вслед за первым развитием этой самой способности, начали изобретать.

Ощущения сопровождаются удовольствием или страданием. Человеку также свойственна способность преобразовывать эти мгновенные впечатления в длительные переживания, приятные или мучительные, испытывать эти чувства, видя или вспоминая радости или страдания других существ, наделенных чувствительностью. Наконец, эта способность, соединенная со способностью образовывать и сочетать идеи, порождает между людьми отношения интереса и долга, с которыми по воле самой природы связаны самая драгоценная доля нашего счастья и самая скорбная часть наших бедствий.

Если ограничиваться наблюдением, познанием общих фактов и неизменных законов развития этих способностей, того общего, что имеется у различных представителей человеческого рода, то налицо будет наука, называемая метафизикой.

Но если рассматривать то же самое развитие с точки зрения результатов относительно массы индивидов, существующих одновременно на данном пространстве, и если проследить его из поколения в поколение, то тогда оно нам представится как картина прогресса человеческого разума.

Этот прогресс подчинен тем же общим законам, которые наблюдаются в развитии наших индивидуальных способностей, ибо он является результатом этого

развития, наблюдаемого одновременно у большого числа индивидов, соединенных в общество. Но результат, обнаруживаемый в каждый момент, зависит от результатов, достигнутых в предшествовавшие моменты, и влияет на те, которые должны быть достигнуты в будущем.

Эта картина таким образом является исторической, ибо, подверженная беспрерывным изменениям, она создается путем последовательного наблюдения человеческих обществ в различные эпохи, которые они проходят.

Она должна представить порядок изменений, вызвать внимание, которое оказывает каждый момент на последующий, и показать, таким образом, в видоизменениях человеческого рода, в беспрерывном его обновлении в бесконечности веков путь, по которому он следовал, шаги, которые он сделал, стремясь к истине или счастью. Эти наблюдения над тем, чем человек был, над тем, чем он стал в настоящее время, помогут нам затем найти средства обеспечить и ускорить иные успехи, на которые его природа позволяет ему еще надеяться.

Такова цель предпринятой мной работы, результат которой должен заключаться в том, чтобы показать путем рассуждения и фактами, что не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действительно безгранична, что успехи в этом совершенствовании отныне независимы от какой бы то ни было силы, желающей его остановить, имеют своей границей только длительность существования нашей планеты, в которую мы включены природой. Без сомнения, прогресс может быть более или менее

быстрым, но никогда развитие не пойдет вспять; по крайней мере, до тех пор, пока земля будет занимать то же самое место в мировой системе и пока общие законы этой системы не вызовут на земном шаре ни общего потрясения, ни изменений, которые не позволили бы более человеческому роду на нем сохраняться, развернуть свои способности и находить такие же источники существования.

Человеческий род на первой стадии цивилизации представлял собой общество с небольшим числом людей, существовавших охотой и рыболовством, обладавших примитивным искусством изготавливать оружие и домашнюю утварь, строить или копать себе жилища, но уже владевших языком для выражения своих потребностей и небольшим числом моральных идей, лежавших в основе общих правил их поведения; живя семьями, они руководствовались общепринятыми обычаями, заменявшими им законы, и имели даже несложную форму правления.

Понятно, что неуверенность и трудность борьбы за существование, вынужденное чередование крайнего утомления и абсолютного отдыха не позволяли человеку располагать тем досугом, при котором, работая мыслю, он мог бы обогащать свой ум новыми сочетаниями идей. Способы удовлетворения потребностей настолько зависели от случая и времени года, что не были в состоянии породить с пользой промышленность, развитие которой могло бы продолжаться; и каждый ограничивался усовершенствованием своей ловкости или личного искусства.

Таким образом, прогресс человеческого рода должен был быть тогда очень медленным; лишь изредка, благоприятствуемое необычайными обстоятельства-

ми, человечество могло иметь поступательное движение. Между тем, средства существования, получаемые от охоты, рыболовства, плодов непосредственно от земли, заменяются пищей, доставляемой животными, которых человек приручил, умеет сохранять и размножать. К скотоводству, далее, присоединяется примитивное земледелие: человек не удовлетворяется более плодами или растениями, которые он находит, он научается из них создавать запасы, собирать их вокруг себя, сеять или разводить и содействовать их воспроизведению при помощи обработки земли.

Собственность, которая первоначально ограничивается собственностью на убитых животных, оружие, сети, домашнюю утварь, распространяется сначала на стада, а затем на землю, которую человек распахал и обрабатывает. Со смертью главы эта собственность, естественно, переходит к семье. Некоторые владеют излишками, поддающимися сохранению. Если излишки значительны, они порождают новые потребности, если они выражаются в одном предмете, в то время как испытывается недостаток в другом, тогда в силу необходимости появляется идея обмена; с этого момента моральные отношения усложняются и умножаются. Большая безопасность, более обеспеченный и постоянный досуг позволяют человеку предаваться размышлению или, по крайней мере, связному наблюдению. У некоторых входит в привычку обменивать часть своего излишка на труд, благодаря чему они сами освобождаются от труда. Таким образом создается класс людей, время которых не целиком поглощено физическим трудом и желания которых распространяются за пределы их примитивных потребностей. Промышленность пробужда-

ется; ремесла, уже известные, распространяются и совершенствуются; случайные факты, которые наблюдает человек, уже более опытный и более внимательный, способствуют проявлению новых ремесел; население растет, по мере того как добывание средств существования становится менее опасным и менее зависящим от случая; земледелие, которое в состоянии прокормить большое число индивидов на одной и той же территории, замещает все другие источники существования; оно благоприятствует дальнейшему размножению людей, а это последнее в свою очередь ускоряет прогресс; приобретенные идеи сообщаются быстрее и вернее упрочиваются в обществе, ставшем более оседлым, более сближенным, более интимным. Заря просвещения начинает уже заниматься; человек обнаруживает свои отличия от других животных и не ограничивается, как они, исключительно индивидуальным совершенствованием.

Более развитые, более частые, более усложнившиеся отношения, которые тогда устанавливаются между людьми, вызывают потребность в средствах сообщения своих идей отсутствующим лицам, упрочения памяти о том или ином факте с большей точностью, чём позволяет устная передача, закрепления условий соглашения более верным путем, чем память свидетелей, закрепление тех признанных обычаяев, которыми члены данного общества руководствуются в своем поведении.

Таким образом появилась потребность в письменности, и последняя была изобретена. Первоначально она, повидимому, носила характер настоящей живописи, уступившей место условной живописи, которая изображала только характерные черты предметов

тов. Впоследствии, по образцу метафоры, аналогичной той, которая уже практиковалась в разговорном языке, изображение физического предмета выражало отвлеченные идеи. Происхождение этих знаков, как и слов, должно было с течением времени забыться. Письменность становится искусством символизировать условными знаками каждую идею, каждое слово и в силу этого каждое изменение идей и слов.

Тогда письменный и разговорный язык становятся достоянием человечества. Необходимо было изучить и установить между ними взаимную связь.

Гениальные люди, вечные благодетели человечества, имена которых и даже отчество никогда не будут преданы забвению, заметили, что все слова какого-либо языка были только сочетаниями чрезвычайно ограниченного количества первичных слогов; что количество последних, хотя и очень ограничено, достаточно было для образования почти бесконечного числа различных сочетаний. Видимыми знаками обозначались не идеи или слова, которым они соответствовали, но простейшие элементы, из которых составлены слова.

С тех пор писаная азбука стала известной; небольшое число знаков удовлетворяло потребность в письме, так же как небольшое количество звуков—потребности разговорного языка. Письменный язык был таким же, как и разговорный, необходимо было только знать и уметь образовать эти немногочисленные знаки. Этот последний шаг обеспечил навсегда прогресс человеческого рода.

Может быть, было бы полезно в настоящее время создать письменность, которая, служа единственno для научных целей, выражая только сочетания про-

стых и понятных всем идей, употреблялась бы только для строго логических рассуждений, для точных, обдуманных операций ума, была бы понятна людям всех стран и переводилась бы на все местные наречия, не изменяясь, как последние, при переходе в общее пользование.

Тогда, в силу особой революции, этот самый вид письменности, сохранение которого содействовало бы продолжению невежества, стал бы в руках философии полезным инструментом быстрого распространения просвещения, совершенствования метода наук.

Эту стадию развития между первой ступенью цивилизации и той ступенью, на которой мы видим еще людей в диком состоянии, прошли все исторические народы, которые, то достигая новых успехов, то вновь погружаясь в невежество, то оставаясь на середине этих двух альтернатив или останавливаясь на известной границе, то исчезая с лица земли под мечом завоевателей, смешиваясь с победителями или попадая в рабство, то, наконец, просвещаясь под влиянием более культурного народа и передавая приобретенные знания другим нациям,—образуют непрерывную цепь между началом исторического периода и веком, в котором мы живем, между первыми известными нам народами и современными европейскими нациями.

Можно, таким образом, уже заметить три совершенно различные части в картине, которую я предполагаю изобразить.

В первой, где на основании рассказов путешественников говорится о состоянии человеческого рода у наименее цивилизованных народов, нам остается разгадать, через какие ступени изолированный чело-

век или, скорее, ограниченный ассоциацией, необходимой для своего воспроизведения, мог достигнуть этих первых усовершенствований, последним пределом которых является употребление членораздельной речи. Этот наиболее заметный и едва ли не единственный признак вместе с несколькими наиболее распространенными моральными идеями и слабыми зачатками социального порядка позволял различить человека от животных, живших, как и он, упорядоченными и прочными обществами. Таким образом, только наблюдение над развитием наших способностей может нам здесь служить путеводной нитью.

Затем, чтобы довести человека до того уровня культуры, когда он занимается ремеслами, когда он начинает озаряться светом знаний, когда торговля объединяет нации, когда, наконец, изобретается алфавит, мы можем присоединить к этому первому путеводителю историю различных обществ, которые изучались почти во всех промежуточных стадиях своего развития, хотя ни одно из них нельзя было бы проследить на всем протяжении, которое отделяет эти две великие эпохи человеческого рода.

Здесь картина начинает опираться большей частью на исторические факты; но необходимо последние извлекать из истории различных народов, сопоставлять их, сочетать, чтобы на этом основании написать гипотетическую историю единого народа и создать картину его прогресса.

С того периода, когда письменность стала известной в Греции, история соединяется с нашим веком, с современным состоянием человеческого рода в наиболее просвещенных странах Европы при помощи

непрерывного ряда фактов и наблюдений; и картина поступательного движения и прогресса человеческого разума становится поистине исторической. Философии не приходится более разгадывать или образовывать гипотетические комбинации. Достаточно объединить, привести в порядок факты и показать полезные истины, которые рождаются в силу сцепления и соединения этих фактов.

Наконец, остается только набросать последнюю картину, картину наших надежд, прогресса, который будет достигнут будущими поколениями и который как бы обеспечивается постоянством законов природы. Нужно будет показать, через какие ступени то, что нам теперь кажется несбыточной надеждой, должно сделаться постепенно возможным и даже доступным; почему, несмотря на преходящий успех предрассудков, поддерживаемых развращенными правительствами и народами, только одна истина должна добиться длительного торжества. Необходимо выяснить, какими узами природа неразрывно связала прогресс просвещения с прогрессом свободы, добродетели, уважения к естественным правам человека; таким образом эти единственныре реальные блага, так часто разобщенные, что их считают даже несовместимыми, должны, напротив, сделаться нераздельными. Это будет тогда, когда просвещение достигнет определенного предела одновременно у значительного числа наций и когда просветится вся масса великого народа, язык которого повсеместно распространится, торговые отношения которого охватят весь земной шар.

В силу этого сближения, которым уже охвачены все просвещенные люди, между ними отныне можно будет

насчитывать только друзей человечества, единодушно содействующих его усовершенствованию и счастью.

Мы изложим происхождение, мы изобразим историю общих ошибок, которые более или менее тормозили или приостанавливали поступательное развитие разума, которые часто даже, как и политические события, вызывали попятное движение человека к первобытному невежественному состоянию.

Операции ума, ведущие нас к заблуждению или задерживающие нас на ошибках мысли, начиная от тонкого царализма, способного сбить с толку даже наиболее просвещенного человека, до мечтаний безумца, являются различными видами метода правильного рассуждения или способа открытия истины в теории развития наших индивидуальных способностей. И на том же основании форма, в которой общие заблуждения проникали, распространялись и увековечивались среди народов, составляет часть исторической картины прогресса человеческого разума. Как истины, которые его совершенствуют и просветляют, заблуждения являются необходимым следствием его активности, всегда существующей диспропорции между тем, что он знает и желает, и тем, что он считает необходимым знать.

Можно даже заметить, что, согласно общим законам развития наших способностей, некоторые предрассудки должны были рождаться в каждую эпоху нашего прогресса, для того чтобы распространить еще шире свое развращающее влияние, свою власть, ибо люди сохраняют заблуждения своего детства, своей родины, своего века еще долгое время после усвоения всех истин, необходимых для разрушения этих заблуждений.

Наконец, во всех странах, во все времена существуют различные предрассудки, соответствующие степени просвещения различных классов людей, так же как и их профессиям. Если предрассудки философов препятствуют новым успехам истины, то предрассудки классов менее просвещенных тормозят распространение истин уже известных, предрассудки же некоторых, облеченные доверием и влиятельных профессий противодействуют их распространению: с этими трёхмя видами врагов разум вынужден беспрестанно бороться, и он часто может восторжествовать над ними лишь после долгой и тяжелой борьбы. История этих боев, история зарождения, успеха и падения предрассудков займет, таким образом, большое место в этой работе, и эта часть не будет менее важной, менее полезной.

Если существует наука, с помощью которой можно предвидеть прогресс человеческого рода, направлять и ускорять его, то история того, что было совершено, должна быть фундаментом этой науки. Философия должна была, конечно, осудить то суеверие, согласно которому предполагалось, что правила поведения можно извлечь только из истории прошедших веков и что истины можно познать, только изучая воззрения древних. Но не должна ли она в этом осуждении видеть предрассудок, который высокомерно отбрасывал уроки опыта? Без сомнения, размышление одно при удачных комбинациях может нас привести к познанию общих истин гуманитарных наук. Но если наблюдение отдельных личностей полезно метафизику, моралисту, почему наблюдение человеческих обществ было бы менее полезным? Почему оно не было бы полезно философи-политику? Если полезно на-

блюдать различные общества, существующие в одно и то же время, изучать их отношения, почему не было бы полезно проследить последовательное развитие их во времени? Предполагая даже, что эти наблюдения могли бы быть оставлены в стороне при отыскании умозрительных истин, должно ли ими пренебрегать, когда речь идет о применении этих истин и о создании науки? Разве источником наших предрассудков и бедствий, которые они за собой влекут, не являются предрассудки наших предков? Разве одним из наиболее верных способов рассеять одни и предотвратить другие не является исследование происхождения и влияния заблуждений?

Разве мы находимся уже на той ступени развития, когда нам не приходится больше опасаться ни новых ошибок, ни возвращения к старым; когда лицемерие не могло бы быть представлено ни одним развращающим учреждением, которое невежество или увлечение не признало бы, когда никакой преступный расчет не мог бы большие причинить несчастья великому народу? Разве будет, таким образом, бесполезным знать, как народы заблуждались, развращались или почему они погрязали в нищете?

Все говорит нам за то, что мы живем в эпоху великих революций человеческого рода. Кто может лучше нас осветить то, что нас ожидает, кто может нам предложить более верного путеводителя, который мог бы нас вести среди революционных движений, чем картина революций, предшествовавших и подготовивших настоящую? Современное состояние просвещения гарантирует нам, что революция будет удачной, но не будет ли этот благоприятный исход иметь место лишь при условии использования всех наших

сил? И для того чтобы счастье, которое эта революция обещает, было куплено возможно менее дорогой ценой, чтобы оно распространялось с большей быстротой на возможно большем пространстве, для того чтобы оно было более полным в своих проявлениях, разве нам не необходимо изучить в истории прогресса человеческого разума препятствия, которых нам надлежит опасаться, и средства, которыми нам удастся их преодолеть?

Я разделю на девять больших эпох тот период, который я предполагаю обозреть; и в десятой я позволю себе изложить некоторые взгляды на будущность человеческого рода.

Я ограничусь представлением здесь главных черт, которыми характеризуется каждая эпоха; я дам только суммарное, не останавливаясь ни на исключениях, ни на деталях. Я укажу цели и результаты, развитие и доказательства которых будут представлены в самом труде.



## ПЕРВАЯ ЭПОХА

---

---

### ЛЮДИ СОЕДИНЕНЫ В ПЛЕМЕНА



икакое непосредственное наблюдение не дает нам указания на то, что предшествовало этому состоянию; и только исследуя умственные и нравственные способности человека и его телесную организацию, можно предположить, каким образом ни поднялся на эту первую ступень цивилизации.

Наблюдения над человеческими способностями, обусловленными физическими качествами, могущими содействовать первичному зарождению общества, и краткий анализ развития наших интеллектуаль-

ных или моральных способностей должны, таким образом, служить введением в картину этой эпохи.

Общество, состоящее из семьи, естественно, возникает у людей. Образовавшись сначала для удовлетворения потребностей детей в родительском уходе, благодаря материинской любви и, хотя менее всеобщей и менее горячей, любви отцовской, этот союз упрочивается в силу продолжительности этой потребности, которая создает и способствует развитию чувства солидарности между супружами. Эта самая продолжительность совместной деятельности супругов была достаточна, чтобы дать почувствовать выгоды семейной жизни. Семья, осевшая на почве, доставлявшей легко средства существования, могла затем размножаться и стать племенем.

Племена, образовавшиеся от соединения нескольких отдельных семейств, должны были формироваться позже и медленнее, так как в этом случае соединение зависело и от менее настоятельных мотивов и от сочетания большого количества обстоятельств.

Искусство изготовления оружия, приготовления пищи, изготовления необходимой домашней посуды, сохранения пищи в течение некоторого времени, накопления запасов на те времена года, когда невозможно будет добывать свежую пищу,—эти искусства, посвященные удовлетворению самых незатейливых потребностей человека, были первым результатом продолжительной совместной жизни людей и первой характерной чертой, которая отличает человеческое общество от обществ, которые образуют многие роды животных.

У некоторых племен женщины разводят вокруг хижины кое-какие питательные растения, которые являются добавлением к продуктам охоты и рыбной

ловли. У других, образовавшихся в местах, где земля естественно доставляет растительную пищу, забота отыскивать и собирать ее занимает часть времени диких людей. У этих последних, где польза единения не столь ощущалась, общество продолжает оставаться в первобытном состоянии, представляя собой изолированную семью. Однако всюду наблюдалось употребление членораздельной речи.

Более частые и более продолжительные отношения, установившиеся между одними и теми же людьми, тождество их интересов, помощь, которую они друг другу оказывали—во время ли общей охоты или при сопротивлении врагу,—все это должно было вызвать равным образом и чувство справедливости и взаимную привязанность между членами общества. Эта привязанность скоро превращается в преданность самому обществу.

Жестокая ненависть и ненасытная жажда мести по отношению к врагам племени являлись необходимым следствием тесного сближения общества.

Потребность в предводителе, чтобы иметь возможность действовать сообща—в целях ли самозащиты или для добывания с меньшим трудом более обеспеченного средства существования и в большем количестве,—породила в этих обществах первоначальные идеи об общественной власти. В тех случаях, когда все племя было заинтересовано, когда оно должно было принять общее решение, все те, которым предстояло его исполнять, должны были участвовать в совещании. Женщины, которые по своей слабости не могли участвовать в далеких охотах или в войне (обычные предметы этих совещаний) были равным образом отстранены от последних. Так как для принятия

решений необходим был опыт, то для обсуждения такиховых допускались только удовлетворявшие этому требованию. Распри, возникавшие в недрах самого общества, нарушали гармонию и иногда угрожали его существованию; естественно было поэтому согласиться предоставить решение спорных вопросов тем, кто благодаря своему возрасту и личным качествам внушал наибольшее доверие. Таково происхождение первичных политических учреждений.

Образование языка должно было предшествовать этим учреждениям. Идея выражать предметы условными знаками возникла ранее, чем человечество приобрело те знания, которыми характеризуется эта эпоха цивилизации; но правдоподобно, что эти знаки были введены в употребление постепенно, под влиянием времени и как бы незаметно.

Изобретение лука было делом гениального человека; в образовании языка участвовало все общество. Эти два вида прогресса одинаково присущи человеческому роду.

Один, более быстрый, представляет собой плод новых сочетаний, которые люди, одаренные природой, способны образовать; он является наградой за их размышления и усилия. Другой, более медленный, рождается как результат размышлений и наблюдений, представляющихся всем людям, и даже привычек, которых они придерживаются в течение своей совместной жизни.

Размеренные и правильные движения выполняются при наименьшем утомлении. Те, кто их видит или слышит, с большей легкостью улавливают их порядок или связь. Таким образом, в силу этого двойного основания эти движения являются источником

удовольствия. И потому происхождение танца, музыки, поэзии восходит к первоначальному младенческому состоянию общества. Танец употреблялся для развлечения молодежи и во время общественных праздников. Так слагались любовные и военные песни; умели даже изготавливать некоторые музыкальные инструменты. Искусство красноречия не абсолютно неизвестно этим племенам: по крайней мере, они умеют произносить вступление речи тоном более низким и более торжественным; и даже ораторское преувеличение ни в какой степени не было им чуждо.

Месть и жестокость по отношению к врагам, возведенные в добродетель, воззрение, осуждавшее женщин на некоторого рода рабство, право командования на войне, составлявшее прерогативу одной какой-либо семьи, наконец, первичные представления о различного рода суевериях — таковы заблуждения, которыми отличается эта эпоха, происхождение которых нужно будет проследить и причины которых вскрыть. Ибо человек принимает без рассуждения только ошибки, привитые ему первоначальным воспитанием, ошибки, которые становятся для него как бы естественными. Если мы впадаем в новое заблуждение, то оно связано с последними, т. е. наши интересы, наши страсти, возварения или события толкают нас на этот путь.

Некоторые начальные познания в астрономии, знакомство с некоторыми целебными травами, употребляемыми для лечения болезней или ран, являются единственными науками диких людей; и они уже искашены примесью суеверия.

Но эта самая эпоха нам показывает еще один важный факт в истории прогресса человеческого разума.

Здесь можно заметить изначальные следы учреждения, которое оказывало на движение разума противоположные влияния, ускоряя успехи просвещения и распространяя в то же время заблуждения. Оно обогащало науку новыми истинами, но ввергало народы в невежество и религиозное рабство, заставляя покупать некоторые временные блага ценою долгой и постыдной тирании.

Я разумею здесь образование классов людей, хранителей основ наук или приемов искусств, мистерий, религиозных церемоний, суеверных обрядов, часто даже секретов законодательства и политики. Я разумею это деление человеческого рода на две части; одна предназначена наставлять, другая создана для того, чтобы верить этим наставлениям; одна высокомерно скрывает те знания, которыми она похваляется, другая почтительно принимает то, что ей удостоят открыть; мысль одной парит выше человеческого разума, другая смиленно отказывается от своего природного ума, падая ниже человеческого достоинства, признавая за другими людьми преимущества, превосходящие их общую природу.

Это различие, остатки которого мы можем наблюдать еще в конце XVIII в. в лице нашего духовенства, встречается у наименее цивилизованных дикарей, которые имеют уже своих шаманов и колдунов. Это отличие настолько постоянно встречается во всех эпохах цивилизации, что причины его, несомненно, глубоко коренятся в самой природе человека. И в том, что представляли собой человеческие способности в эти первые периоды жизни общества, мы найдем причины легковерия первых жертв обмана, как и причину незамысловатой хитрости первых фокусников.



## ВТОРАЯ ЭПОХА

---

### ПАСТУШЕСКИЕ НАРОДЫ. ПЕРЕХОД ОТ ПАСТУШЕСКОГО СОСТОЯНИЯ К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

**И**дея сохранять животных, добытых на охоте, должна была легко появиться, когда присмотр за этими животными, ставшими ручными, не представлял более затруднений, когда почва вокруг жилищ доставляла обильный корм, когда в семье появились излишки провизии и вместе с тем существовало опасение возможности голода вследствие неудачи следующей охоты или ненастной погоды.

Сохраняя животных как простую провизию, люди

заметили, что животные могут размножаться и доставлять в силу этого более постоянный источник питания. Их молоко явилось новым предметом питания; и эти продукты, доставляемые стадом, которые сначала были только добавлением к продуктам охоты, стали самостоятельным средством более прочного, более обеспеченного и менее трудного существования. Охота, таким образом, утратила характер главного источника существования и впоследствии совершенно потеряла свое первоначальное значение. Она сохранилась как развлечение или как необходимая предосторожность для удаления диких зверей от стад, которые вследствие своего размножения не могли находить достаточно корма вблизи жилищ.

Более оседлая, менее утомительная жизнь доставляла досуг, благоприятный для развития человеческого разума. Обеспеченные средствами существования, не беспокоясь более о предметах первой необходимости, люди стали искать новых ощущений в переживаниях, способных сделать жизнь более приятной.

Некоторый прогресс совершается в области ремесел; люди приобретают некоторые познания в искусстве кормления домашних животных, научаются содействовать их размножению и даже усовершенствовать породу.

Научаются также употреблять шерсть для одежды и заменять тканями звериные шкуры.

Семейная жизнь становится более приятной и вместе с тем более интимной. Так как стада каждой семьи не могли равномерно размножаться, то, естественно, образовалось имущественное неравенство. Тогда возникла мысль уделять часть продуктов скот-

товорства человеку, стадами не обладающему, с тем чтобы он взамен посвящал свое время и свои силы на выполнение того, что от него потребуют. Практика пользования наемным трудом показала, что молодой, хорошо сложенный работник создает ценностей больше, чем стоит пища, необходимая для восстановления его сил; и в силу этого соображения начали превращать военнопленных в рабов, вместо того чтобы их убивать.

Гостеприимство, практиковавшееся также среди диких народов, принимает у пастушеских народов, даже у тех, которые жили в кибитках или шалашах, характер более подчеркнутый, более торжественный. Предстают более частые случаи оказывать взаимное гостеприимство как между отдельными людьми, так и между семьями и народами. Этот гуманный акт становится социальной обязанностью и регламентируется специальными правилами.

Наконец, так как некоторые семьи имели продовольствие не только достаточное для своего существования, но также постоянный излишек, а другие люди нуждались в самом необходимом, то сострадание, естественно проявлявшееся у первых по отношению к последним, породило чувство и привычку благотворительности.

Нравы должны были смягчиться; рабство женщин становится менее жестоким, и в богатых семьях они постепенно освобождаются от тяжелых работ.

Большое разнообразие предметов, предназначенных для удовлетворения различных потребностей и орудий, служащих для изготовления этих предметов, большее неравенство в распределении последних, должны были увеличить обмен и создать настоящую

торговлю, для расширения которой появилась необходимость в общей мере,—в деньгах. Племена становились многочисленнее; в то же время необходимость искать новых пастбищ для лучшего кормления скота заставляла людей селиться в большем отдалении друг от друга, когда они оставались на той же территории, или менять местожительство подвижными лагерями, когда они научились пользоваться для переноски тяжестей некоторыми породами прирученных ими животных.

Каждое племя имело своего военачальника; но когда племя в силу необходимости обеспечить себя пастбищами разделилось на несколько кланов, каждый клан имел также своего предводителя. Почти всюду некоторые семьи присваивали себе привилегию поставлять племенам или клану начальников. Главы семейств, обладавшие многочисленными стадами, многими рабами и пользовавшиеся услугами большого количества более бедных граждан, разделяли власть с начальниками своего клана, подобно тому как последние разделяли власть с предводителями племени,—по крайней мере тогда, когда должное почтение к их возрасту, опыту и подвигам внушало к ним доверие. Этой эпохе развития общества нужно приписать происхождение рабства и неравенства политических прав людей, достигших зрелого возраста.

Споры, уже более частые и более сложные, решались согласно естественной справедливости или принятому обычью, советами, состоявшими из начальников семей или предводителей кланов. Традиции, установившиеся при этих решениях, укрепляя и утверждавшие обычай, приняли вид более правильного судопроизводства, более постоянного, в котором

сверх того благодаря развитию общества ощущалась настоятельная потребность. Идея собственности и ее прав приобрела большее распространение и большую определенность. Наследство, ставшее более значительным, вызывает необходимость регламентировать разделение его определенными правилами. Договорные отношения, в которые люди все чаще вступают, не ограничиваются более предметами незначительными; важность этих актов заставила установить для них определенную форму; способ установления существования договора для обеспечения его исполнения подчинялся также известным законам.

Наблюдение звезд—полезное занятие, которому настуки благодаря своему досугу предавались в течение долгих вечеров,—должно было вызвать некоторый незначительный прогресс в области астрономии.

Но в то же время мы видим, что совершенствуется искусство вводить в заблуждение людей, чтобы их легче эксплуатировать, чтобы поработить их воззрения авторитетом, основанным на страхе и наивных надеждах. Учреждаются более стройные культы, вырабатываются более сложные религиозные системы, идеи о сверхъестественных силах в некотором роде уточняются. И наряду с этими воззрениями мы видим, как в одном месте учреждается должность князей-первосянников, в другом—семья или клан присваивает себе священническое звание, в третьем—образовываются иреческие сословия. Всюду один класс людей, дерзко стремясь использовать свои преимущества, отделяется от остальных, чтобы их лучше порабощать. Посвящая себя исключительно медицине или астрономии, этот класс вооружается всеми средствами для подчинения себе умов, лишая

в то же время последних возможности сорвать с него маску лицемерия и сломать его оружие.

Языки обогащались, оставаясь попрежнему образными и смелыми. Образы, употребляемые в речи, становятся более разнообразными и менее грубыми. Источником их являются как пастушеская, так и лесная жизнь, как обычные, так и исключительные явления природы. Пение, музыка, поэзия совершенствуются, когда слушатели благодаря досугу более спокойны и поэтому более разборчивы, когда в силу того же обстоятельства они могут подробнее разбираться в своих собственных чувствах, оценивать свои первичные впечатления и разбираться в них.

То обстоятельство, что некоторые растения доставляют стадам лучший и более обильный корм, не могло не быть замечено: польза разведения таких растений, отделения их от других, менее питательных, вредных и даже опасных для здоровья животных, была очевидна, и средства для этого были найдены.

Точно так же в странах, где растения, семена и плоды естественно произрастали на земле и вместе с продуктами скотоводства составляли пищу людей, последние должны были также обратить внимание на процесс размножения этой растительности и у них должна была явиться мысль разводить ее на почве, более близкой к жилищам, отделять ее от сорных трав, занимая весь подходящий для культуры участок полезными растениями, ограждать последний от диких животных и стад и даже от жадности других людей.

Эти идеи должны были зародиться также, и даже скорее, в странах более плодородных, где растительность в диком состоянии почти удовлетворяла потреб-

ности человека в пище. Таким образом люди начали заниматься земледелием.

В плодородной стране и при благоприятном климате на одном и том же пространстве возделанной земли произрастает семян, плодов и корней столько, что ими может питаться количество людей гораздо большее, чем эта земля могла прокормить, служа пастбищем. Таким образом, когда почва оказывалась не слишком трудной для обработки, когда научились пользоваться для земледельческих работ теми же животными, которыми настущие народы пользовались для перевозки людей и груза, когда земледельческие орудия были некоторым образом усовершенствованы,—земледелие становится наиболее обильным источником человеческого существования и главным занятием народов. Человеческий род достигает своей третьей эпохи.

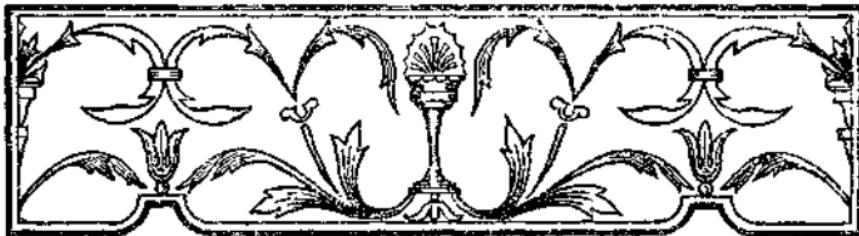
Некоторые народы остались с незапамятных времен в одном из этих двух состояний, которые мы только что обозревали. Не только они сами не поднялись на высший уровень культуры, но и отношения, которые установились между ними и народами, достигшими чрезвычайно высокой ступени цивилизации, торговля, которую они завели с последними, не могли произвести этой революции. Благодаря этим отношениям и торговле отсталые народы приобретали некоторые познания, знакомились с некоторыми отраслями промышленности, в особенности по-заимствовали много пороков, но все это не могло их вывести из состояния неподвижности.

Климат, привычки, удовольствия, связанные с почти полной независимостью, которая не может возродиться даже в обществе более совершенном, чем

наше, естественная привязанность человека к воззрениям, привитым ему в детстве, и обычаям своей страны, естественное отвращение невежества ко всякого рода новшествам, физическая и в особенности умственная лень, которая ослабляла любопытство, так вяло проявлявшееся, влияние, которое уже оказывало суеверие на первичные общества,—таковы были главные причины этого застоя. Ко всему этому нужно добавить жадность, жестокость, развращенность и предрассудки просвещенных народов. Последние казались народам, пребывающим в первобытном состоянии, более могущественными, более богатыми, более образованными, более деятельными, но более порочными и в особенности менее счастливыми, чем они сами. Первобытные народы должны были часто менее поражаться превосходством культурных народов, чем ужасаться множеством и обширностью их потребностей, мучениями их жадности, вечной возбужденностью их страстей, всегда активных, всегда ненасытных. Некоторые философы жалели эти отсталые народы; другие их превозносили: последние называли мудростью и добродетелью то, что первые считали глупостью и ленью.

Вопрос, занимавший этих философов, разрешается в настоящем труде. Здесь мы увидим, почему прогресс разума не всегда вел общества к счастью и добродетели, каким образом предрассудки и заблуждения могли оказывать свое вредное влияние на блага, которые должны были явиться плодами просвещения, но которые зависят в большей мере от чистоты знаний, чем от их обширности. Тогда ясно станет, что этот бурный и мучительный переход первичного грубого общества к цивилизации просвещенных и свободных

народов является отнюдь не вырождением человеческого рода, но неизбежным переломом в его постепенном движении к полному совершенству. Мы увидим, что пороки просвещенных народов обусловлены были не ростом, а упадком знаний и что последние не только никогда не развращали людей, но всегда смягчали нравы, если уже не могли их исправить или изменить.



## ТРЕТЬЯ ЭПОХА

---

### ПРОГРЕСС ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ НАРОДОВ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ



днообразие картины, которую мы до сих пор рисовали, скоро исчезнет. Нам не придется больше ограничиваться наблюдением народов, привязанных к своей территории, у которых первичная семья сохранилась почти в первоначальном виде, нравы, характеры, воззрения и суеверия которых различаются лишь едва заметными оттенками.

Нашествия, завоевания, образование государств, разрушение последних скоро смешали народы, то

рассеивая их по новой территории, то заселяя одно и то же пространство различными народами.

Случайные события беспрестанно нарушили медленный, но правильный ход естественной эволюции, часто задерживая ее, иногда ускоряя.

Явление, наблюдаемое у данного народа в данном веке, часто обусловливается революцией, производившейся на десять веков раньше и на пространстве в тысячи лье. Мрак времен скрыл большую часть этих событий, влияние которых отразилось на наших предшественниках и иногда распространяется и на нас самих.

Но прежде всего нужно рассмотреть последствия этого изменения для одной нации независимо от влияний, которые завоевания и смешение народов могли на нее оказать.

Земледелие привязывает человека к почве, которую он возделывает. В первобытном состоянии для перемены местожительства ему достаточно было перекочевать со своей семьей на новое место и перенести туда свои охотничьи снаряды; затем, при занятиях скотоводством, его свобода передвижения также несколько не затруднялась, ибо достаточно было угнать стада на новые пастбища. Теперь не то: земли, никому не принадлежащие, не доставили бы больше продовольствия ни ему (человеку.—Ред.), ни животным, которые служили бы для него источником питания.

Каждый участок земли имеет своего хозяина, которому единственно и принадлежат плоды. Сбор последних, превышая то, что было израсходовано для их получения, для поддержания существования людей и животных, производивших эти плоды, доставляет собственнику ежегодный доход, для

приобретения которого он никакого труда не затрачивает.

На первых двух стадиях развития общества все индивиды, по крайней мере все семьи, занимались всеми необходимыми ремеслами.

Но когда оказались люди, которые, не трудясь, пользовались продуктами своей земли, и другие, которые работали за наемную плату, уплачиваемую им первыми, когда отрасли труда умножились, когда процессы производства стали более обширными, более сложными, тогда общий интерес скоро подсказал необходимость разделения труда. Было замечено, что производство человека достигает большего совершенства, когда оно ограничивается производством меньшего числа предметов, что рука делает небольшое количество движений с большей быстротой и большей точностью, когда благодаря долгому упражнению эти движения становятся привычными; что для хорошего исполнения какой-либо работы требуется меньшее напряжение умственных способностей, когда эта работа часто повторяется.

Таким образом, в то время как одна часть людей занималась земледелием, другие изготавливали земледельческие орудия. Присмотр за скотом, ведение внутреннего хозяйства, изготовление одежды равным образом сделались специальными профессиями. Так как в семьях, обладавших небольшой собственностью, одно из этих занятий не могло всецело поглощать время человека, то некоторые из них отдавали свой труд, получая взамен плату из излишков нанимателя.

Так как материалы, применяемые для различных ремесел, скоро умножились и их изготовление требовало различных способов производства, то анало-

гичные производства образовали новые различные отрасли промышленности, в каждой из которых был занят особый класс рабочих. Торговля развивается, схватывая все большее количество предметов и все большую территорию; тогда образуется новый класс людей, исключительно занятых покупкой предметов потребления, сохраняемых, перевозимых и перепродаляемых с прибылью.

Таким образом, к трем классам, которые уже можно было различать в пастушеской жизни,—собственников, прислуги, привязанной к их семье, и, наконец, рабов—нужно теперь добавить класс рабочих всевозможных профессий и класс купцов.

По мере того, как общество более упрочилось, более сблизилось и взаимоотношения членов его более усложнились, почувствовалась потребность в более правильном и более обширном законодательстве; нужно было с большей точностью определить как наказания за преступления, так и формы договоров, необходимо было подчинить более строгой регламентации случаи, требовавшие применения закона.

Этот прогресс совершился медленно и постепенно в силу назревавших потребностей и под влиянием сложившихся обстоятельств. То были некоторые шаги вперед на пути, по которому следовали уже пастушеские народы.

В первых эпохах воспитание носило чисто домашний характер. Дети учились у своего отца как обычным работам, так и известным ему ремеслам; от него же они перенимали небольшое число традиций, образовавших историю племени или семьи, басни, передававшиеся из поколения в поколение; он их знакомил также с национальными обычаями и те-

ми принципами или предрассудками, которые должны были составлять их начальную мораль.

Дети обучались в обществе своих товарищих пениям, танцам и военным упражнениям. В эпоху, которую мы теперь рассматриваем, дети более богатых семейств получали своего рода общее воспитание или в городах путем собеседований со старцами, или в доме главы рода или племени. Здесь они изучали законы страны, ее обычай и предрассудки, научились петь поэмы, в которых изображалась история нации.

Привычка более оседлой жизни установила между обоими полами больше равенства. Женщины не рассматривались более как полезные вещи, как рабы, более приближенные к хозяину. Муж начинает видеть в жене товарища и проникается, наконец, сознанием, что она способствует его счастью. Тем не менее, даже в странах, где они пользовались наибольшим уважением, где многоженство было запрещено, ни разум, ни справедливость не доходили до признания полной взаимности супружеских обязанностей или прав на развод и равенства в наказаниях за неверность.

История этой категории предрассудков и их влияние на судьбу человеческого рода должна войти в картину, которую я намереваюсь начертать. И ничто не послужит лучшим показателем того, насколько счастье человечества неразрывно связано с прогрессом разума.

Некоторые народы остались рассеянными в деревнях. Другие объединялись в городах, которые стали служить резиденцией общего начальника, величаемого именем, соответствующим слову король, ме-

стопребыванием начальников кланов, которые разделяли его власть, и старейшин, представителей каждой большой семьи. Там решались дела, касающиеся всего общества, и выносились приговоры по частным делам. Там скапливались наиболее ценные богатства в целях охранения их от грабителей, которые должны были размножаться параллельно увеличению местных богатств. Когда народы были рассеяны по обширной территории, обычай определял место и время собраний начальников для обсуждения общественных интересов, для заседаний суда, выносившего приговоры.

Народы, которые признавали свое общее происхождение, которые говорили на одном языке, не отказываясь однако вести между собой войны, почти всегда образовывали более или менее тесную федерацию, соглашаясь объединяться или против иноzemных врагов, или чтобы общими силами отомстить за их несправедливости, или для совместного выполнения некоторых религиозных обрядов.

Гостеприимство и торговля создавали некоторые постоянные отношения даже между народами, отличавшимися друг от друга происхождением, обычаями и языком, отношения, которые грабежи и войны часто прерывали, но которые скоро возобновлялись в силу необходимости более сильной, чем любовь к грабежу или жажде мести.

Убивать побежденных, грабить и превращать их в рабов не является уже больше единственно признанным правом между враждебными нациями. Уступка территории, выкуп и дань отчасти имеют место у этих жестоких варваров.

В эту эпоху всякий, обладавший оружием, был

солдатом; кто имел лучшее оружие, кто умел им лучше владеть, кто мог снабжать им других с условием, что последние будут его сопровождать на войне, кто благодаря запасам провизии был в состоянии доставлять продовольствие своим воинам,—тот неизбежно становился предводителем; но это почти добровольное подчинение не влекло за собой рабской зависимости.

Так как редко ощущалась потребность в новых землях, так как не существовало общественных расходов, которые граждане были бы обязаны покрывать,—а если бы даже оказалась надобность в расходах, то источником для их покрытия должно было служить имущество начальников или земли, находящиеся в общем пользовании, так как идея регламентировать промышленность и торговлю еще не была известна, так как наступательная война решалась с общего согласия или предпринималась единствено теми, кого увлекала любовь к славе и склонность к грабежу,—человек считал себя свободным в этих первобытных государствах, несмотря на то что пост главного начальника или короля был почти всюду наследственным, и младшие начальники присваивали исключительно себе привилегию разделять политическую власть и занимать административные и судебные должности.

Но часто король, побуждаемый чувством личной мести, самовластно совершал акты жестокости. Часто в этих привилегированных семьях тщеславие, взаимная наследственная ненависть, сластолюбие и жажда золота умножали преступления, между тем как начальники, собранные в городах, являясь орудием королевских страостей, провоцировали заговоры и гражданские войны, угнетали народ несправ-

ведливыми приговорами, терзали его преступлениями своего тщеславия и разоряли грабежами.

У многих народов распутства привилегированных семейств истощали народное терпение. Тогда они уничтожались, изгонялись или подчинялись общему закону; иногда они сохраняли свой титул и власть, ограниченную законом. И мы видим, как постепенно создаются новые формы государственного устройства, которые впоследствии были названы республиками.

В других странах короли, окруженные телохранителями, ибо они обладали достаточными средствами для вооружения и вознаграждения последних, пользовались безграничной властью. Таково было происхождение тирании.

В некоторых местах, особенно там, где маленькие народы совершенно не объединялись в городах, первичные формы их государственности сохранились вплоть до момента, когда они подпали под иго завоевателя или когда они, увлекаемые духом грабежа, сами рассеивались по чужой территории.

Тирания, сосредоточенная на очень небольшом пространстве, могла продолжаться лишь короткое время. Народы скоро сбрасывали с себя иго, наложенное на них исключительно силой и не поддерживаемое общественным мнением. Чудовище видно было слишком близко, чтобы внушать к себе чувство страха или ужаса: и сила, как и мнение, не могла бы выковать достаточно прочных цепей, если бы тираны не двигали границ своих владений и не распространяли свою власть на пространстве, достаточно большом, чтобы иметь возможность, разделяя угнетаемый ими народ, скрывать от него тайну своего могущества и его слабости.

История республик относится к следующей эпохе, но та, которая занимает нас теперь, представит нам иное зрелище.

Земледельческий народ, подчиненный иноземным нациям, отнюдь не бросал своего очага; необходимость заставляла его работать на своих господ.

Господствующая нация то удовлетворялась оставлением на завоеванной территории наместников для управления и солдат для ее защиты, а в особенности, чтобы удерживать в подчинении жителей и вымогать от безоружных подданных дань деньгами или съестными припасами, то она захватывала даже территорию, распределяя ее в собственность между солдатами и полководцами, и тогда прикрепляла к каждому участку старого земледельца, который ее возделывал, и подчиняла его этому новому виду крепостничества, регламентируемого более или менее суровыми законами. Военная служба и поземельный налог являются для новых собственников условиями, связанными с пользованием доходами от этих земель.

Иногда завоеватель присваивал себе право собственности на землю, распределяя ее только в пользование, налагая повинности. Почти всегда обстоятельства заставляют практиковать одновременно эти три формы вознаграждения: виновников завоевания и ограбления побежденных.

На почве создавшихся отношений между завоевателями и побежденными зарождаются новые классы людей—потомки господствующего народа и потомки угнетенного: наследственное дворянство, которое не следует смешивать с патрициатом республик, и народ, обреченный на труд, зависимость и унижение, не будучи однако рабом, наконец, крепостные (es-

*claves de la glèbe*), отличающиеся от домашних рабов меньшей закабаленностью, что давало им возможность опираться на закон в борьбе с произволом своих господ.

Здесь можно также наблюдать происхождение феодализма, который в известные эпохи цивилизации являлся бичом не только Европы, но встречался почти на всем земном шаре и всегда, когда одна и та же территория оказывалась занятой двумя народами, между которыми победа устанавливала наследственное неравенство.

Наконец, плодом завоевания является также деспотизм. Под словом деспотизм в отличие от недолговечной тирании я разумею здесь угнетение народа одним человеком, который господствует над ним в силу сложившегося воззрения, привычки и в особенности благодаря сильной армии, над которой он пользуется самодержавной властью, но вынужден уважать ее предрассудки, угоджать ее капризам, поощрять ее жадность и тщеславие.

Непосредственно охраняемый значительной по числу и отборной частью этой армии, образованной из народа-завоевателя или чужого массе подданных, окруженный наиболее могущественными полководцами, управляя провинциями через своих начальников, имеющих в своем распоряжении более слабые части этой самой армии,—деспот царствует в силу внушаемого им страха. Никто из среды покоренного народа или этих начальников, рассеянных и соперничающих между собой, не думает о возможности восстать против него, противопоставить силе силу и сокрушить его.

Восстание гвардии, бунт в столице могут быть ги-

бельными для деспота, никак не ослабляя деспотизма. Вождь победоносной армии может, уничтожая династию, освященную предрассудком, основать новую, но для того, чтобы осуществлять ту же тиранию.

В эту третью эпоху у народов, не испытавших еще несчастья быть ни победителями, ни побежденными, мы можем наблюдать те простые и крепкие нравственные достоинства земледельческих наций, те нравы героических времен, картина которых, представляя сочетание величия и дикости, великодушия и варварства, так привлекательна, что заставляет нас еще теперь ими восхищаться и даже сожалеть о них.

Картина нравов, которую мы наблюдаем в государствах, основанных завоевателями, нам представляется, напротив, все черты унижения и разврата, до которых деспотизм и суеверие могут довести человеческий род. Именно там мы видим зарождение налогов на промышленность и торговлю, лихоимства, вынуждающего покупать право использовать свои способности по своему усмотрению, зарождение законов, препятствующих человеку свободно избрать себе труд и распоряжаться своей собственностью, законов, привязывающих детей к профессиям своих отцов, зарождение конфискаций, жестоких казней, одним словом, всех тех актов произвола, узаконенной тирании и суеверных жестокостей, которые только презрение к человеческому роду могло изобрести.

Можно заметить, что среди племен, совершенно не переживших великих революций, прогресс цивилизации остановился на чрезвычайно низком уровне. Люди, тем не менее, испытывали там потребность в новых идеях или новых ощущениях—первичный двигатель прогресса человеческого разума, который рав-

ным образом развивает склонность к излишествам роскоши, поощряет промышленность и любознательность, пронизывая жадным взором покров, под которым природа спрятала свои тайны. Но почти всюду случалось так, что, для того чтобы избавиться от этой потребности, люди искали физических средств, с помощью которых они могли бы доставлять себе беспрерывно обновляющиеся ощущения, увлекавшие их до бешенства. Такова привычка употребления крепких напитков, опия, табака и других наркотических средств. Очень мало таких народов, у которых бы не наблюдалась одна из этих привычек, доставляющих удовольствие, которое продолжается целые дни или повторяется во всякое время, которое позволяет не тяготиться временем, удовлетворяет потребности быть занятым или возбужденным и которое в конечном итоге притупляет способности человека, удлиняя младенческое и бездейственное состояние его разума. Эти самые привычки, послужившие препятствием для прогресса невежественных или порабощенных народов, затрудняют еще теперь в культурных странах распространение истины настоящим и равномерным светом среди всех классов населения.

Описывая состояние ремесел в двух первых эпохах развития общества, мы покажем, каким образом эти первобытные народы помимо ремесел по обработке дерева, камня или костей животных, изготовления кож и тканей постигли более трудные краильное и горшечное искусства и даже начали работ по металлу.

Прогресс этих ремесел должен быть медленным у изолированных наций, но установившиеся между ними хотя бы слабые сношения ускоряли его. Но-

вый процесс, открытый одним народом, становится общим достоянием соседей. Завоевания, которые столько раз гибельно отражались на развитии ремесел, прежде чем их остановить или способствовать их упадку, содействовали их распространению и совершенствованию.

Мы видим, что некоторые из этих ремесел достигают высшей степени совершенства у народов, у которых долгое влияние суеверия и деспотизма повлекло за собой вырождение всех человеческих способностей. Но, если присмотреться к чудесам этой рабской промышленности, мы здесь не заметим ничего такого, что бы говорило о творчестве гения: все эти усовершенствования являются плодом медленного и тяжелого труда, долгой рутины. Всюду наряду с этой промышленностью, которая нас удивляет, мы замечаем следы невежества и глупости, открывающие нам ее происхождение.

В оседлых и мирных обществах астрономия, медицина, простейшие понятия анатомии, умение распознавать минералы и растения, первичные идеи естествознания совершенствовались или, скорее, распространялись единственно в силу влияния времени, которое, умножая наблюдения, приводило медленно, но верно к легкому, почти с первого взгляда, пониманию некоторых общих следствий, вытекавших из этих наблюдений.

Тем не менее, прогресс был чрезвычайно незначителен, и науки остались бы на более продолжительное время в своем первичном состоянии, если бы некоторые семейства и в особенности некоторые отдельные касты не сделали бы науки главным основанием своей славы и своего могущества.

Наблюдение явлений природы уже дополнялось изучением человека и общества. Уже небольшое количество правил практической морали и политики передавалось из поколения в поколение; всем этим завладели касты; религиозные идеи, предрассудки и суеверия также способствовали увеличению их власти. Они унаследовали профессии первых колдунов и шарлатанов, но они применяли их с большим искусством, чтобы сворачивать более развитые умы. Их действительные познания, кажущаяся суровость их жизни, лицемерное презрение к тому, что является предметом желаний обыкновенных смертных, придавали их власти престиж, между тем как в силу этого самого авторитета их слабые познания и лицемерные добродетели приобретали в глазах народа таинственное значение. Члены этих каст прежде всего преследовали с почти равным усердием две совершило различные цели: приобретение для самих себя новых познаний и использование тех знаний, которыми они обладали, для того чтобы обманывать народ и господствовать над умами.

Их мудрецы занимались преимущественно астрономией, и, поскольку можно судить по рассеянным остаткам памятников их трудов, кажется, что они в этой области достигли наивысшей точки, на которую возможно было подняться без помощи зрительных стекол, без поддержки теорий высшей математики для вычисления основных законов мировой системы.

В самом деле, помощью длинного ряда наблюдений можно получить довольно точные познания о движениях планет и быть в состоянии вычислить и предсказать небесные явления. Эти эмпирические законы, которые тем легче находить, чем продолжительнее

период наблюдения, не привели этих первых астрономов к открытию общих законов мировой системы, но они были достаточны, чтобы удовлетворять потребности человека или его любопытство, и увеличивали доверие к этим узурпаторам исключительного права поучать.

Жреческим кастам мы, повидимому, обязаны изобретением арифметических правил, этого удачного способа представлять все числа небольшим количеством знаков и производить помошью чрезвычайно простых технических операций те вычисления, которых человеческий ум, не вооруженный этим средством, не мог бы постигнуть. Мы видим здесь первый пример тех методов, которые удваивают силы ума и с помощью которых он может бесконечно расширять пределы своего познания, не встречая границ, перейти через которые ему было бы запрещено.

Но мы не видим, чтобы арифметика двинулась у них дальше знакомства с этими простейшими операциями. Их геометрия, заключая в себе то, что необходимо было для межевания (землемерия) и астрономической практики, остановилась на знаменитой теореме, которую Пифагор перенес в Грецию или вновь самостоятельно открыл.

Производство машин жрецы предоставляли тем, кто должен был ими пользоваться. Однако некоторые сведения, достоверность которых ослабляется благодаря примеси различных небылиц, как будто говорят за то, что жрецы сами изучали практическую механику как одно из средств, помошью которого можно было поражать умы чудесами.

Законы движения, рациональная механика совершенно не останавливали на себе их внимания.

Если они изучали медицину и хирургию, особенно постольку, поскольку это нужно было для лечения ран, то зато игнорировали анатомию.

Их познания по ботанике и естественной истории ограничивались предметами, употребляемыми в качестве лекарств, некоторыми растениями, некоторыми минералами, особенные свойства которых помогали осуществлять их замыслы.

Их химия, сведенная до простейших процессов, без теории, без метода, без анализа, представляла собой только искусство приготовлять некоторые препараты, составлять некоторые секретные смеси, которыми они пользовались в своей медицинской практике, для ремесел или для того, чтобы ослеплять глаза невежественной толпе, подчиненной начальникам, столь же невежественным, как она сама.

Прогресс наук был для них только второстепенной целью, средством упрочить или расширить свою власть. Они искали истины только для того, чтобы распространять заблуждения; и не нужно поэтому удивляться, что они так редко ее находили.

Однако этот прогресс, каким бы медленным и слабым он ни был, стал бы невозможен, если бы эти люди не знали письменности, этого единственного средства обеспечить существование традиций, их увековечить, обобщать и передавать знания, как только они начинают умножаться.

Таким образом, иероглифические письмена были их первым изобретением или они были открыты до образования каст обучающих.

Так как целью их было не просвещать, а господствовать, они не только не делились с народом всеми своими знаниями, но еще разворачивали его заблужде-

ниями, которые им угодно было ему сообщать; они его обучали не тому, что они сами считали истиной, но тому, что им было выгодно.

Они ему ничего не показывали, без того чтобы не примешивать чего-либо сверхъестественного, священного, небесного, что заставляло рассматривать их как сверхчеловеков, как наделенных божественным даром, как получивших от самих небес свои знания, запрещенные для остальных людей.

Они, таким образом, имели две доктрины: одну для самих себя, другую для народа. Часто даже, разделившись на несколько орденов, они в каждом из них сохраняли некоторые тайны. Все низшие ордена были одновременно обманщиками и обманутыми, и система лицемерия открывалась во всей своей наготе только глазам немногих посвященных.

Ничто так не благоприятствовало утверждению этой двойной доктрины, как изменение наречий, которые явились продуктом времени, путей сообщения и смешения народов. Люди двойной доктрины, сохранив для себя старое наречие или пользуясь языком другого народа, обеспечивали себе также преимущество обладания языком, понятным только им самим.

Первичная письменность, обозначавшая вещи более или менее точным изображением или самой вещи, или аналогичного предмета, уступив место более упрощенному письму, когда подобие этих предметов почти изгладилось, когда стали употреблять только уже в некотором роде чисто условные знаки,—осталась в пользовании у таинственной доктрины. И, таким образом, последняя имела свою особую письменность, как она уже имела свой язык.

При возникновении языков почти каждое слово—

метафора и каждая фраза — аллегория. Ум улавливает одновременно смысл переносный и буквальный; слово представляет идею и в то же время изображение, служившие для ее выражения. Но разум, привыкая употреблять слово вfigуральном смысле, в конце концов останавливается исключительно на последнем, не считаясь с подлинным значением; и этот вначалеfigуральный смысл постепенно становится обычным и собственным значением того же самого слова.

Жрецы, сохранившие изначальный аллегорический язык, употребляли его в соотношениях с народом, который не мог более улавливать истинного смысла этого языка и который, привыкши понимать слова в одном значении, ставшем их собственным, слышал абсурдные небылицы, когда эти самые выражения в понимании жрецов оказывались простейшими истинами. Такое же употребление они сделали из своей священной письменности. Народ видел людей, животных, чудовищ там, где жрецы хотели изобразить астрономическое явление, один из фактов истории года.

Так, например, жрецы почти всюду в своих размышлениях создавали себе метафизическую систему великого целого, громадного, вечного, только видоизменениями которого являются все существа и все события, наблюдаемые во вселенной. На небе они видели только группы звезд, посеянные по этим небольшим пустыням, планеты, описывающие более или менее сложные движения, и чисто физические явления, вытекающие из расположения этих небесных светил. Они наделяли именами эти группы звезд и эти планеты, движущиеся по кругам или кажущиеся не-

подвижными, чтобы изобразить их расположения и видимое движение, чтобы уяснить себе небесные явления.

Но их язык, их письмена, выражая для них эти метафизические воззрения, эти естественные истины, представляли глазам народа наиболее нелепую мифологическую систему, которая легла в основание его наиболее абсурдных верований, наиболее бесмысленных культов, наиболее постыдных или варварских религиозных обрядов.

Таково происхождение почти всех известных религий, которые впоследствии благодаря ханжеству или сумасбродству их изобретателей или прозелитов обогатились новыми нелепостями.

Эти касты захватили в свои руки воспитание, чтобы приучать человека безропотно носить житейские цепи, чтобы лишать его желания их разорвать. Но если хотим понять, до какой степени эти учреждения, даже без помощи суеверных ужасов, могут гибельно влиять на человеческие способности, нам нужно на мгновение остановить свое внимание на Китае, на том народе, который как будто только для того опередил другие народы в науках и искусствах, чтобы затем быть оттесненным на самый задний план, которому знакомство с артиллерией не помешало быть побежденным варварскими нациями. В Китае науки, изучаемые в многочисленных школах, открытых для всех граждан, служат единственным источником всех почестей. Тем не менее, подчиненные нелепым предрассудкам, они осуждены быть вечно посредственными. В этой стране даже изобретение книгоиздания оказалось совершенно бесполезным для прогресса человеческого разума.

Люди, которые видели в обмане свою выгоду, должны были скоро проникнуться отвращением к исканию истины. Довольные спокойствием народов, они полагали, что не представляется надобности в новых средствах для упрочения своего положения. Некоторое время спустя они сами забыли часть истин, скрытых в их аллегориях; от своей былой учености они сохранили только то, что было безусловно необходимо для поддержания своего престижа в глазах учеников; и они, в конце концов, сами оказывались обманутыми своими собственными вымыслами.

С тех пор всякий прогресс в науках остановился; даже часть тех наук, свидетелями которых были предшествовавшие века, были потеряны для следующих поколений; и в тех обширных царствах, беспрерывное существование которых обесчестило в столь отдаленные времена Азию, человеческий разум, предоставленный невежеству и предрассудкам, был обречен на позорную неподвижность.

Народы, населяющие эти империи, являются единственными, у которых можно наблюдать одновременно и эту ступень цивилизации и этот упадок.

Народы, занимавшие остальную поверхность земного шара, были остановлены в своем развитии и нам еще напоминают собой времена младенческого состояния человеческого рода; или они были увлечены событиями через последующие эпохи, историю которых нам предстоит еще начертать.

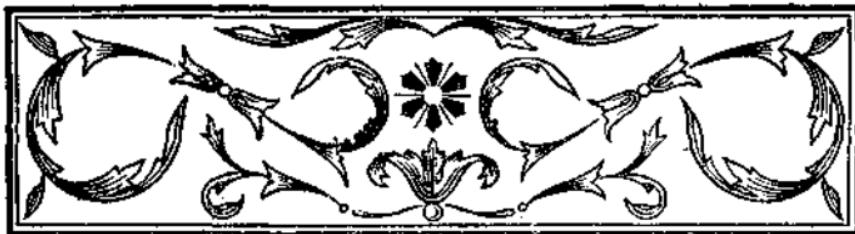
В эпоху, к которой мы подошли, эти самые народы Азии изобрели азбуку, которой они заменили иероглифические письмена; это изобретение, вероятно, имело место после того, как они употребляли письменность, в которой каждая идея символизируется

условными знаками и которая еще поныне является единственным достоянием китайцев.

История и рассуждения могут нам осветить процесс постепенного перехода от иероглифов к этому, в некотором родециальному, состоянию письменности; но ничто не может нам указать с некоторой точностью ни страну, ни время, где и когда она была впервые введена в употребление.

Это открытие было впоследствии перенесено в Грецию, к тому народу, который оказал счастливое и могущественное влияние на прогресс человеческого разума, гений которого открывал ему все пути к истине, который был создан природой и предназначен судьбой, чтобы быть благодетелем и путеводителем всех наций во всех веках,—честь, которая до сих пор не выпадала на долю ни одного народа.

Лишь один народ мог впоследствии питать надежду стать во главе нового переворота в судьбах человечества. Природа и течение событий как бы сговорились доставить ему эту славу. Но не будем стремиться предугадывать то, что неизвестное будущее от нас еще скрывает.



## ЧЕТВЕРТАЯ ЭПОХА

---

---

### ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА В ГРЕЦИИ ДО ВРЕМЕНИ РАЗДЕЛЕНИЯ НАУК В ВЕК АЛЕКСАНДРА

**В**озненавидев своих царей, которые, называя себя потомками богов, бесчестили человеческий род своим безумствами и преступлениями, греки их изгнали и образовали республики. Из последних только Лакедемония признавала наследственные начальников, власть которых однако умолялась авторитетом других должностных лиц, которые были подчинены законам, как все граждане, и ослаблены вследствие разделения царства между наследниками двух разветвлений династии Гераклитов.

Жители Македонии, Фессалии и Эпира, связанные с греками общностью происхождения и языка, управляемые бессильными князьями, не объединенные между собой, не могли угнетать Грецию, но были достаточно сильны для того, чтобы охранять ее с севера от набегов скифских племен.

С запада Италия, разделенная на изолированные и небольшие государства, не могла вмешать ей никаких опасений. Даже почти вся Сицилия и наиболее удобные порты Южной Италии были уже заняты греками-колонистами, которые, сохранив братские отношения со своей метрополией, тем не менее образовали независимые республики. Другие колонии возникли на островах Эгейского моря и на некоторой части побережной полосы Малой Азии.

Таким образом, присоединение этой части азиатского материка к обширной империи Кира было единственной реальной опасностью, которая могла угрожать независимости Греции и свободе ее жителей.

Тирания, хотя более продолжительная в некоторых колониях и в особенности в тех, основанию которых предшествовало истребление царских фамилий, могла там быть рассматриваема только как временный и слабый бич, как источник бедствий жителей некоторых городов, не оказавший однако влияния на общий дух нации.

Греция позаимствовала у восточных народов их ремесла, часть их знаний, азбуку и их религиозную систему. Всем этим Греция обязана сношениям, установившимся между нею и этими народами, изгнанникам, искашившим убежища в Греции, наконец, греческим путешественникам, вывозившим с Востока знания и заблуждения.

Науки не могли, таким образом, стать в Греции занятием и родовым наследием особой касты. Функции жрецов ограничивались обрядами богослужения. Гений мог там развернуть все свои силы, не будучи подчиненным педантическому надзору и лицемерной системе жреческой коллегии. Все люди пользовались одинаковым правом познавать истину. Все могли стремиться открывать истину для сообщения ее всем и сообщать ее всю, без ограничения.

Это счастливое обстоятельство еще более, чем политическая свобода, обусловило независимость человеческого разума у греков и явилось залогом быстрого и широкого его прогресса.

Тем не менее, греческие мудрецы и ученые, которые скоро стали именоваться более скромно философами, или друзьями науки и мудрости, сбились с пути в бесконечности слишком обширного горизонта, который они хотели охватить своим умственным взором. Они хотели постигнуть природу человека и богов, проникнуть в тайны происхождения мира и человеческого рода. Они пытались свести всю природу к одному принципу и явления вселенной к единому закону. Они стремились заключить в одном правиле поведения все моральные обязанности и тайну истинного счастья.

Таким образом, вместо того чтобы открывать истины, они выдумывали системы, пренебрегали наблюдением фактов, предпочитая отдаваться своему воображению, и, лишенные возможности подкреплять свои воззрения доказательствами, пытались защищать их хитростями. Однако эти самые люди успешно разрабатывали геометрию и астрономию. Греция им обязана первоначальными понятиями в этих науках

и даже некоторыми новыми истинами или, по крайней мере, знанием тех, которые они переняли у Востока не как установленное верование, но как теории, принципы и доказательства которых им были понятны.

В тумане этих систем мы видим свет, распространяемый двумя счастливыми идеями, с которыми мы еще раз встретимся в века более просвещенные.

Демокрит рассматривал все явления вселенной как результат сочетания и движений простых тел, определенной и неизменной фигуры. Тела получают первый толчок, откуда возникает некоторое количество действия, которое изменяется в каждом атоме, но которое остается неизменным во всей массе.

Пифагор провозгласил, что вселенная представляет собой стройный порядок, в основании которого лежит число, производящее гармонию бытия, т. е. что все феномены подчинены общим и численным законам.

Легко узнать в этих двух идеях и смелые системы Декарта и философию Ньютона.

Пифагор открыл самостоятельно или позаимствовал у египетских или индийских жрецов действительное расположение небесных тел и истинную систему мира, с которой он ознакомил греков. Но эта система слишком не соответствовала тогдашним понятиям, слишком противоречила общераспространенным идеям, чтобы слабые доказательства, которыми можно было установить ее истинность, были способны увлекать умы. Она осталась скрытой в недрах пифагорейской школы и была забыта вместе с нею, чтобы вновь появиться в конце XVI в. подкрепленной более определенными доказательствами, которые тогда восторжествовали и над противными воззрениями и над

суеверными предрассудками, еще более могущественными и более опасными.

Эта пифагорейская школа распространилась, главным образом, в Великой Греции; там она воспитывала законодателей и неутомимых защитников прав человечества. Она погибла под ударами тиранов. Один из них сжег пифагорейцев в их школе. Эти гонения были для последователей Пифагора достаточной причиной, конечно, не для того, чтобы отречься от философии учителя, не для того, чтобы отказаться от защиты народного дела, но для того, чтобы не носить больше имени, ставшего слишком опасным, и не осуществлять тех форм общественных отношений, которые служили только поводом для возбуждения ярости врагов свободы и разума.

Одной из первых основ всякой хорошей философии является ясная и точная терминология, выработанная специально для каждой науки, где каждый термин выражает вполне определенную и ограниченную известными пределами идею и строго аналитический метод для точного определения и ограничения идей.

Греки, напротив, злоупотребляли недостатками обычной речи, чтобы играть словами, чтобы путать разум жалкими двусмысленностями, мутить его, выражая последовательно одним и тем же словом различные идеи. Однако эти лукавые приемы, истощая силы ума нелепыми затруднениями, в то же время придавали ему утонченность и гибкость. Таким образом, эта словесная философия, занимая такие вершины, где, казалось, человеческий разум должен остановиться перед непреодолимыми для него препятствиями, не оказывала никакого непосредственного влияния на его прогресс; но она этот про-

гресс подготовила. И мы будем еще иметь случай повторить это самое наблюдение.

Они занимались вопросами, быть может, никогда не разрешимыми человеком, соблазнялись важностью или величием предметов, не считаясь с тем, хватит ли у них средств их постигнуть; хотели создавать теории прежде чем собрали факты, и строить вселенную, не умея даже ее обозревать; это было заблуждение, тогда вполне простительное, которое с первых шагов остановило движение философии. И потому Сократ, сражаясь с софистами, осмеивая их тщетную ловкость, призывал греков возродить, наконец, на земле ту философию, которая затерялась в небесах. Он не только не пренебрегал ни астрономией, ни геометрией, ни наблюдениями явлений природы, ему не только была чужда ребяческая и ложная идея ограничить человеческий разум изучением морали,—на против, именно его школе и его ученикам математические и физические науки обязаны своим прогрессом. Наибольшим поводом к насмешкам, которыми стремятся осыпать его в комедиях, служит упрек в том, что он разрабатывал геометрию, изучал метеоры, чертил географические карты и производил наблюдения зажигательными стеклами; и благодаря замечательной случайности эта отдаленная эпоха стала нам наиболее известна только из карикатуры Аристофана.

Сократ хотел научить людей ограничиваться только исследованием вещей, которые природа сделала доступными их пониманию, укреплять каждый свой шаг, прежде чем они попытаются сделать новый, изучать окружающее их пространство, прежде чем устремятся случайно в неведомое место.

Его смерть является важным событием в истории человеческого разума. Это—первое преступление, которое породила борьба между философией и суеверием.

Уже уничтожение пифагорейской школы ознаменовало собой борьбу между философией и угнетателями человечества, борьбу не менее древнюю и не менее жестокую. Та и другая будут продолжаться до тех пор, пока останутся на земле священники или цари; и эти войны займут большое место в картине, которую нам осталось обозреть.

Жрецы с тревогой смотрели на людей, которые, стремясь усовершенствовать свой ум, доискаться первопричин вещей, знали всю бессмыслиность их догм, всю нелепость их обрядов, весь обман их оракулов и чудес. Они боялись, чтобы эти философы не доверили этого секрета своим ученикам, посещавшим их школы; чтобы от последних он не перешел бы ко всем тем, кто, чтобы добиться власти или доверия, вынужден был дать некоторое развитие своему уму, и чтобы таким образом жреческое сословие не было низведено до положения самого грубого класса народа, который, в конце концов, сам освободился бы от заблуждений.

Испуганное лицемерие поспешило обвинить философов в неуважении к богам, чтобы лишить их возможности научить народы, что эти боги придуманы жрецами. Философы сочли нужным во избежание преследования пользоваться по примеру самих жрецов двойной доктриной, доверяя только испытанным ученикам воззрения, которые слишком открыто нападали на предрассудки толпы.

Но жрецы представляли народам даже простейшие

физические истины как богохульство. Они преследовали Анаксагора за то, что он осмелился сказать, что солнце гораздо больше Пелопоннеса.

Сократ не мог избежать их ударов. В Афинах не было уже больше Перикла, который неутомимо стоял на страже гения и добродетели. Сократ, сверх того, был более всех виновен. Его ненависть к софистам, его усердие, с которым он старался направить запутавшуюся философию к изучению предметов наиболее полезных,—все говорило жрецам, что только истина была предметом его исканий, что он хотел не заставить людей принять новую систему и подчинить их своему воображению, но учить их пользоваться собственным разумом. Из всех преступлений жреческое высокомерие менее всего способно было простить именно это последнее.

Непосредственно после смерти Сократа Платон начал читать лекции, развивая учение своего учителя.

Его обаятельный слог, его блестящее воображение, веселые или величественные картины, нарисованные им, тонкие и занимательные остроты, которые он щедро рассыпал, устраяли в его диалогах сухость философских споров. Правила доброй и чистой морали, которые он умел распространять, искусство приводить в действие свои персонажи, сохраняя для каждого даже его пластическую характеристику,—все эти красоты, которые не потускнели от времени и перемен во взглядах, без сомнения, должны искупить философские мечтания, слишком часто являющиеся основой его трудов, то злоупотребление словами, в котором его учитель так упрекал софистов и от которого он не мог предохранить наилучшего из своих учеников.

При чтении этих диалогов кажется невероятным, чтобы они могли принадлежать перу философа, который, как гласила надпись на дверях его школы, воспрещал вход туда всякому, кто не изучал бы геометрию; и чтобы тот, кто с такой смелостью излагает столь легкомысленные и пустые гипотезы, был основателем школы, где впервые подвергнуты были строгому исследованию основы достоверности человеческих знаний и где даже были поколеблены те, которые более просвещенный ум заставил бы уважать.

Но недоумение исчезнет, если принять во внимание то обстоятельство, что Платон никогда не говорит от своего имени и за него в диалогах всегда выражается со скромной неуверенностью его учитель Сократ; что системы излагаются от имени тех, кто действительно был их автором или кого Платон изобразил таковым; что эти диалоги, таким образом, являются еще школой пирронизма и что Платон сумел показать одновременно смелое воображение ученого, которому нравится комбинировать, развивать блестящие гипотезы, и осторожность философа, увлекающегося своим воображением, не давая себя однако им увлечь; ибо его разум, вооруженный спасительным сомнением, умел защищаться от иллюзий даже наиболее соблазнительных. Эти школы, где доктрина и в особенности принципы и метод первого основателя упрочивались, причем однако его последователи были далеки от рабской покорности,—эти школы имели то преимущество, что они объединяли узами свободного братства людей, стремившихся проникнуть в тайны природы. Если мнение учителя там слишком часто пользовалось авторитетом, который должен принадлежать только разуму, если в си-

лу этого подобное учреждение тормозило прогресс знаний, то все-таки оно содействовало быстрому и широкому их распространению. И в то же время, когда книгопечатание не было известно и даже рукописи были чрезвычайно редки, эти большие школы, слава которых привлекала учеников со всех концов Греции, являлись наиболее могущественным средством для развития склонности к философии и распространения новых истин.

Эти соперничающие школы боролись с враждебностью, характерной для сектантского духа, и часто истина приносилась в жертву успеху доктрины, которая являлась предметом гордости каждого члена секты. Личная страсть прозелитизма заглушала более благородное стремление просвещать людей. Но в то же время это соперничество поддерживало полезную деятельность умов; зрелище этих диспутов, интерес, который возбуждала эта борьба мнений, привлекали к изучению философии массу таких людей, которых одна только любовь к истине не могла бы оторвать ни от повседневных занятий, ни от удовольствий, ни даже от лени.

Наконец, так как эти школы, эти секты, которые греки имели мудрость никогда не превращать в публичные учреждения, оставались совершенно свободными, так как каждый мог по своему желанию открыть другую школу или образовать новую секту, то никакого не приходилось бояться того порабощения умов, которое у большинства других народов представляло собой неустранимое препятствие для прогресса человеческого разума.

Мы покажем, каково было влияние философов на умы греков, на их нравы, законы, правительства,

влияние, которое должно быть преимущественно и главным образом приписано тому, что они не имели или не хотели иметь никакого политического положения, что добровольное удаление от общественных дел было правилом общего поведения почти всех сект, что, наконец, они старались отличаться от других людей своей жизнью, как они отличались своими возвретиями.

Рисуя картину этих различных сект, мы мало будем заниматься их системами, как и принципами их философии; мы не будем доискиваться, как это часто делается, какие именно нелепые доктрины скрывает от нас этот мудрый язык, ставший почти непонятным, но мы постараемся показать, какие общие заблуждения привели их к этим ложным путям, и вскрыть таким образом начало естественного движения человеческого разума.

Мы в особенности займемся изложением прогресса реальных наук и последовательного совершенствования их методов.

В эту эпоху философия обнимала почти все науки, исключая медицину, которая уже была выделена в самостоятельную дисциплину. Сочинения Гиппократа могут нам показать, каково было тогда состояние этой науки и тех, которые с ней естественно связаны. Последние существовали только как вспомогательные к медицине области знания.

Математические науки успешно разрабатывались в школах Фалеса и Пифагора. Однако они поднялись у них не на много выше над тем уровнем, на котором они остановились в жреческих коллегиях восточных народов. Но с возникновением платоновской школы они стремятся перейти границу, которую

для них создала идея ограничивать изучение математики непосредственной и практической ее полезностью.

Платон первый решил задачу удвоения куба, правда, посредством непрерывного движения, но процессом остроумным и способом несомненно точным. Его первые ученики открыли теорию конических сечений, определили главные их свойства и в силу этого открыли гению тот бесконечно широкий горизонт, где он сможет вечно и беспрестанно применять свои силы, но границы которого он после каждого сделанного им шага вперед увидит все больше удаляющимися от него.

Политические науки обязаны своим прогрессом у греков не только одной философии. В этих маленьких республиках, ревниво охранявших свою независимость и свободу, почти всюду было принято поручать одному человеку не законодательную власть, но функции составления законопроектов и представления их народу, который, обсудив их, давал им свою непосредственную санкцию.

Народ, таким образом, возлагал этот труд на философа, заслужившего его доверие своими добродетелями или мудростью, но он ему не даровал никакой власти. Только народ сам осуществлял то, что мы называем законодательной властью. Привычка, столь гибельная, вносить в политические учреждения элемент суеверия препятствовала слишком часто воплощению столь чистой идеи—давать законам какнибудь страны то систематическое единство, которое одно только может облегчить проведение их в жизнь и обеспечить им продолжительное существование. Сверх того, политика не имела еще постоянных прин-

ципов, чтобы не могли явиться опасения, что законодатели внесут в законопроекты свои предрассудки и свои страсти.

Законодатели не могли еще ставить себе задачей построить на разуме и естественном праве, наконец, на правилах всеобщей справедливости здание общества равных и свободных людей. Они могли только установить законы, в силу которых наследственные члены уже существующего общества сохраняли бы свою свободу, жили бы в безопасности, располагали бы внешней силой, которая обеспечила бы их независимость.

Так как предполагалось, что эти законы, почти всегда связанные с религией и освященные присягой, должны быть вечными, то мало заботились о том, чтобы обеспечить народу средства реформировать их мирным путем, предвидеть необходимость изменения этих основных законов, дабы предупредить те случаи, когда частичная реформа портит всю систему или вызывает брожение умов. Стремились создать преимущественно учреждения, способные воспламенить и питать любовь к отечеству, уже предполагающую любовь к законам или даже обычаям страны, и организацию властей, которая охраняла бы законы от нарушения их нерадивыми или развращенными должностными лицами, от влияния могущественных граждан и от беспокойных движений толпы.

Богатые, которые одни только имели тогда возможность приобретать знания, могли, захватив власть, угнетать бедных и заставлять их отдаваться в руки тирана. Невежество и легкомыслие народа, его зависимость к сильным гражданам могли вызвать у последних вполне осуществимое желание установить ари-

стократический деспотизм или передать ослабленную страну честолюбивым соседям. Вынужденные предохранять себя одновременно от этих двух опасностей, греческие законодатели прибегали к более или менее удачным комбинациям, которые однако почти всегда носили отпечаток той хитрости, той проницательности, которые с тех пор стали характерными для общего духа нации.

Вряд ли можно было найти в новейших республиках и даже в проектах, составленных философами, учреждение, образец или пример которого не дали бы греческие республики. Ибо амфикионные лиги этолийцев, аркадийцев и ахейцев являются федеративными учреждениями, союз которых был более или менее тесным, и между этими различными народами, связанными общностью происхождения и языка, сходством нравов, воззрений и религиозных верований, установились менее варварские отношения и более свободные правила торговли.

Взаимоотношения между земледелием, промышленностью и торговлей, с одной стороны, и государственным устройством и законодательством какой-либо страны—с другой, их влияние на ее благосостояние, мощь и свободу не могли не быть замеченными народом умным, деятельным, заботящимся об общественных интересах. Наука столь обширная и столь полезная, известная теперь под именем «политической экономии», стала зарождаться у греков.

Одного только наблюдения образовавшихся форм правления было, таким образом, достаточно, чтобы скоро создать из политики обширную науку. И поэтому в сочинениях философов она представляет собой скорее науку фактов, так сказать, науку эмпи-

рическую, чём истинную теорию, основанную на общих принципах, почерпнутых из явлений природы и проверенных разумом.

Такова точка зрения, с которой нужно рассматривать политические идеи Аристотеля и Платона, если мы хотим проникнуть в их смысл и справедливо их оценить.

Почти все учреждения греков предполагали существование рабства и возможность собирать на площади всех граждан. Для того чтобы правильно судить о деятельности этих учреждений, а в особенности для того, чтобы предугадать то, что они могли бы сделать, будучи восстановлены современными великими нациями, не следует ни на минуту терять из виду этих двух столь важных и столь различных обстоятельств. И нельзя без боли вспомнить о том, что тогда даже наиболее совершенные политические планы имели предметом свободу или счастье, самое большее, половины человеческого рода.

Воспитание было у греков важной частью политики. Оно готовило людей не столько для личной или семейной жизни, сколько для служения отечеству. Этот принцип может применяться только небольшими народами, которым более простительно мыслить национальный интерес отделенным от общечеловеческого. Он практичен только в тех странах, где наиболее тяжелые земледельческие и промышленные работы исполняются рабами. Это воспитание почти ограничивалось физическими упражнениями, развитием нравственных принципов и привычек, способных возбуждать исключительный патриотизм. Остальное свободно изучалось в школах философов или риторов, в мастерских художников, и эта свобода

обучения является также одной из причин превосходства греков.

В их политике, как и в их философии, мы открываем один общий принцип, много исключений из которого история вряд ли может нам представить. Он выражается в искании в законах не столько средства устраниТЬ причины зла, сколько способа уничтожать его следствия, противопоставляя эти причины друг другу; в желании скорее вводить в учреждения предрассудки и пороки, чем их рассеинвать или обуздывать; в стремлении чаще извращать человека, возбуждать и раздражать его чувствительность, чем совершенствовать, исправлять его наклонности и привычки, являющиеся неизбежным порождением его моральной организации. Словом, они допускали ошибки, обусловленные заблуждением более общего характера, выражавшимся в том, что они смотрели на вещи под углом зрения современного им человека, т. е. человека, развращенного предрассудками, вожделениями искусственно привитых страстей и социальными привычками.

Это наблюдение тем более важно, оно будет тем более необходимо для вскрытия источников указанного заблуждения, чтобы его скорее разрушить, что оно удержалось вплоть до нашего века и что оно еще слишком часто в наши дни уродует мораль и политику.

Если сравним законодательство и в особенности форму и правила судебных приговоров восточных народов и греков, то мы видим, что у одних законы—это иго, под которое сила пригиula рабов, у других—условия общего договора, заключенного между людьми. У одних предмет законных форм—это обеспече-

ние исполнения воли хозяина, у других—гарантия свободы граждан. У одних закон создан для того, кто заставляет его исполнять, у других—для того, кто должен ему подчиниться. У одних заставляют бояться закона, у других научают его нежно любить—различия, которые мы можем и теперь найти между законами свободных и пребывающих в рабстве народов. Мы увидим, что в Греции человек, по крайней мере, чувствовал свои права, если он их еще не познал, если он еще не умел углубляться в их сущность, обнять и представить их себе в полном объеме.

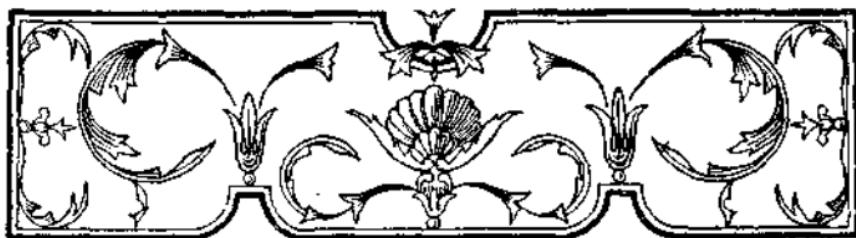
В эту эпоху первых проблесков философии у греков и их первых научных шагов изящные искусства поднялись на такую ступень совершенства, которая не была еще достигнута ни одним народом и которая впоследствии лишь для немногих оказалась доступной. Гомер жил в период тех смут, которыми сопровождались падение тиранов и образование республик. Софокл, Эврипид, Пиндар, Фукидид, Демосфен, Фидий, Апеллес были современниками Сократа или Платона.

Мы нарисуем картину прогресса этих искусств и исследуем причины, обусловливавшие его. Мы отличим то, что можно рассматривать как усовершенствование искусства, и то, что обязано своим происхождением счастливому гению художника; и благодаря этому приему мы увидим, как исчезнут те узкие границы, в которые заключили усовершенствование изящных искусств. Мы проследим влияние, которое оказали на их прогресс формы правления, законодательная система, дух религиозного культа; мы исследуем то, чем они обязаны философии, и то, чем последняя сама им обязана.

Мы покажем, каким образом свобода, искусства, знания способствовали смягчению и улучшению нравов. Мы увидим, что пороки греков, так часто приписываемые прогрессу их цивилизации, имеют своим происхождением более грубые века и что просвещение, развитие искусств их умеряли, если не могли их уничтожить. Мы докажем, что эти красноречивые<sup>1</sup> декламации против наук и искусств основаны на ложном применении истории и что, напротив, развитие добродетели всегда сопровождалось успехами просвещения, подобно тому как порча нравов всегда следовала или предвещала упадок.

---

<sup>1</sup> Намек на Ж.-Ж. Руссо.—Ред.



## ПЯТАЯ ЭПОХА

---

### ПРОГРЕСС НАУК ОТ ИХ РАЗДЕЛЕНИЯ ДО ИХ УНАДКА



ще при жизни Платона его ученик Аристотель открыл в Афинах же школу, соперничавшую со школой учителя.

Аристотель не только охватил все науки, но он применил также философский метод к красноречию и поэзии. Он первый дерзнув высказать ту мысль, что этот метод должен распространиться на все то, что доступно человеческому пониманию, ибо в познавательном процессе участвуют всегда одни и те же способности и результат этого процесса должен вполне подчиняться одним и тем же законам.

Чем обширнее был план, который он себе начертал, тем более он чувствовал потребность разделить его на составные части и установить с большей точностью пределы каждой. Начиная с этой эпохи большинство философов и даже целых сект стало ограничиваться изучением некоторых из этих частей.

Математические и физические науки были разделены на много отдельных дисциплин. Так как они основывались на вычислении и наблюдении, так как то, чему они могли научить, не зависело от воззрений, разделявших секты, они отделились от философии, над которой эти секты еще господствовали. Они, таким образом, стали занятием ученых, которые почти все имели благоразумие допускать посторонних к диспутам в свои школы. Там время посвящалось спорам, более полезным для недолговечной славы философов, чем для прогресса философии.

Под словом «философия» стали даже понимать только общие принципы мироздания, метафизику, диалектику и мораль, часть которой составляла политика.

К счастью, эта эпоха разделения предшествовала времени, когда Греция после долгих бедствий должна была потерять свою свободу. Науки нашли убежище в столице Египта, в котором деспоты, управлявшие этой страной, быть может, отказали бы философии. Князья, которые большей частью своих богатств и своего могущества обязаны были международной торговле, рынком которой служила Александрия, куда стекались товары Средиземным и Австралийско-азиатским морями, должны были поощрять науки, полезные для мореплавания и торговли.

Эти науки избежали, таким образом, того быстрого

упадка, который скоро почувствовался в области философии, блеск которой исчез вместе со свободой. Деспотизм римлян, столь безразличный к успехам просвещения, распространился на Египет лишь много времени спустя, когда город Александрия оказался необходимым для обеспечения Рима продовольствием. Являясь уже тогда столицей наук, как и центром торговли, Александрия сама сумела отстоять священный огонь просвещения благодаря своему населению, богатству, большому стечению иностранцев и учреждениям, основанным Птоломеями, которые победители не намеревались разрушать.

Академическая секта, где математические науки разрабатывались с момента ее зарождения и где философское обучение почти ограничивалось доказательством полезности сомнения и определением тесных пределов достоверности, должна была быть школой ученых; ее учение не могло внушать опасений деспотам, и потому мы видим ее господствующей в александрийской школе.

Теория конических сечений, метод их применения как для построения геометрических мест точек, так и для решения задач, открытие нескольких других кривых расширили область геометрии, до тех пор столь ограниченную. Архимед открыл квадратуру параболы и измерил поверхность сферы; им сделаны первые шаги в теории пределов, определяющей последнее значение какой-нибудь переменной величины, которая беспрерывно приближается к постоянной, никогда с ней не совпадая; в той науке, помощью которой можно то находить отношения величин бесконечно малых, то, исходя из полученных данных, определять отношения конечных величин. Словом, в том

вычислении, которому современные народы больше из гордости, чем по справедливости, дали название исчисления бесконечно малых. Архимед первый определил отношение круга к своему диаметру, указал способ получения все более и более приближенных его значений и стал пользоваться методом приближенностии, этим удачным прибавлением к известным тогда несовершенным методам и часто к самой науке.

Его можно считать некоторым образом творцом рациональной механики. Ему мы обязаны теорией рычага и открытием гидростатического принципа, что тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им масса жидкости. Винт, названный его именем, его зажигательные зеркала, чудеса осады Сиракуз свидетельствуют о его талантах в области науки о машинах, которой современные ему ученые пренебрегали, ибо принципы механики, известные до Архимеда, были слишком недостаточны для создания этой науки.

Эти великие открытия, эти новые науки ставят Архимеда рядом с теми счастливыми гениями, жизнь которых отмечает собою эпоху в истории человека и существование которых является одним из благодатий природы.

В Александрийской школе мы находим первые зачатки алгебры, т. е. науки, занимающейся исследованием свойств отвлеченных величин, рассматриваемых как таковые. Сущность вопросов, предложенных и разрешенных в книге Диофанта, сводилась к тому, чтобы числа рассматривались как имеющие общее значение, неопределенное и подчиненное только известным условиям.

Но эта наука не имела еще тогда, как теперь, своих знаков, своих собственных методов, своих технических приемов. Общие значения обозначались словами, и последовательным рассуждением находились и развивались решения задач.

Результаты халдейских наблюдений, присланные Александром Аристотелю, ускорили прогресс астрономии. То, что в них было самого блестящего, принадлежит гению Гиппарха. Но если после него в астрономии, как после Архимеда в геометрии и механике, не было сделано тех открытий, тех работ, которые способны некоторым образом изменить вид всей науки, они все же продолжали еще долго совершенствоваться, распространяться и обогащаться по крайней мере второстепенными истинами.

В своей истории животных Аристотель дал принципы и драгоценный образец способа точного наблюдения и систематического описания природы, он дал классификацию этих наблюдений и обобщения результатов последних. История растений и история минералов были составлены после него, но они не отличаются точностью первой, и в них проводятся менее широкие, менее философские взгляды.

Анатомия развивалась чрезвычайно медленно не только потому, что религиозные предрассудки препятствовали вскрытию трупов, но также потому, что, по народным воззрениям, прикосновение к мертвцам считалось как бы моральным осквернением.

Медицина Гиппократа представляла собою науку, основанную на наблюдениях, которая могла вести только к эмпирическим методам. Дух сектантства, склонность к гипотезам скоро заразили ее. Но если количество заблуждений превосходило количество

новых истин, если предрассудки или системы врачей приносили больше зла, чем наблюдения могли сделать добра, тем не менее, нельзя отрицать, что медицина в продолжение этой эпохи сделала слабые, но все же реальные успехи.

В физику Аристотель не внес ни той точности, ни той мудрой осторожности, которые характеризуют его «историю животных». Он заплатил дань привычкам своего века и духу школ, искажая эту науку теми гипотетическими принципами, которые со своей-ственной им общей неясностью объясняют все с некоторой легкостью, ибо не могут ничего объяснить с точностью.

Впрочем, наблюдение одно недостаточно, нужны также опыты. Последние требуют приборов, а, по-видимому, тогда еще не собрали достаточного количества фактов и эти факты изучались недостаточно подробно, чтобы могла возникнуть идея и явиться потребность исследовать природу путем опытов и заставить ее отвечать на вопросы.

И потому история прогресса физики в эту эпоху должна ограничиться картиной небольшого количества знаний, обязаных своим появлением случаю и наблюдениям, обусловленным промышленной деятельностью в большей мере, чем исследованиями учёных. Гидравлика и в особенности оптика пожали немногого более обильную жертву; но и этот успех еще является скорее результатом наблюдения самопроизвольно возникших фактов, чем теорий или физических законов, открытых благодаря опытам или постигнутых умозаключением.

Земледелие до этого времени ограничивалось следованием рутине и несколькими правилами, которые

жрецы, передавая их народам, исказили своими суевериями. У греков и в особенности у римлян оно становится занятием важным и уважаемым. Наиболее ученые люди старались собирать обычай и правила земледелия. Эти сборники точно отмеченных и сознательно собранных наблюдений могли бы осветить практику и распространить полезные методы; но эта эпоха еще очень далека была от века опытов и вычищенных наблюдений.

Механические искусства начали приобретать научный характер. Философы стали ближе присматриваться к производству, исследовать его происхождение, изучать его историю, описывать процессы и продукты работ, производившихся в различных странах, собирать эти наблюдения и передавать их потомству.

Так, Плиний описывает в своей всеобъемлющей естественной истории, в этом драгоценном инвентаре всего того, что тогда составляло истинные богатства человеческого разума, человека, природу и искусства. И его права на нашу признательность не могут умаляться в силу того заслуженного им упрека, что он принимал слишком неразборчиво и со слишком большим доверием все то, что невежество или лживое тщеславие историков и путешественников преподнесли его ненасытной жадности все знать.

В период упадка Греции Афины, которые в дни ее могущества высоко чтили философию и литературу, в свою очередь обязаны последним сохранением на более продолжительное время некоторых остатков былого великолепия. На трибуне Афин уже более не взвешивались судьбы Греции и Азии, но именно в афинских школах римляне изучали тайны красно-

речия и под влиянием дара Демосфена сформировывались первые ораторы.

Академия, Ликей, Портик и сады Эпикура были колыбелью и главной школой четырех сект, которые оспаривали друг у друга господство в философии.

В Академии учили, что нет ничего достоверного, что никакого предмета человек не может ни воспринять с подлинной уверенностью, ни даже постигнуть с совершенной ясностью, что, наконец (и трудно было еще дальше итти), нельзя быть уверенным в этой невозможности ничего знать и что нужно сомневаться даже в необходимости во всем.

Это учение излагалось, защищалось, им пользовались как наступательным оружием на возарения других философов; но гипотезы его служили специально для гимнастики ума и для того, чтобы, подчеркивая неуверенность, которую обнаруживали диспутанты, дать сильнее почувствовать тщету человеческих знаний и бессмысличество догматической само-надеянности других сект.

Это сомнение, допускаемое разумом, когда оно направляет нашу мысль к тому, чтобы не рассуждать о словах, которыми мы не можем выражать ясных и точных идей, соразмерять наше согласие со степенью вероятности каждого положения, определять для каждого класса знаний пределы достоверности, доступной нашему пониманию,—этот самый скепсис, если он распространяется на доказанные истины, если он нападает на принципы морали, становится или глупостью или безумием. Он благоприятствует невежеству и разврату; таково иалишество, до которого дошли софисты, заместившие в Академии первых учеников Платона.

Мы изложим ход развития мысли этих скептиков и причину их заблуждений; мы проследим то, что в преувеличениях их доктрины должно быть приписано мании обособиться странными воззрениями, мы покажем, что если они были довольно вердо отвергаемы людьми инстинктивно, в силу того чувства, которым они сами руководствовались в жизни, то они никогда не были ни хорошо поняты, ни вполне опровергнуты философами.

Однако этот преувеличенный скептицизм не увлек всей академической секты. Мнение о существовании вечной идеи справедливости, красоты, честности, независимой от людских интересов, от условий их жизни, идеи, которая, запечатленная в нашей душе, стала для нас принципом нашей обязанности и правилом нашего поведения,—это учение, почерпнутое из диалогов Платона, продолжало излагаться в школе и легло в основу преподавания морали.

Аристотель не лучше своих учителей знаком был с искусством анализировать идеи, т. е. разлагать их сложные сочетания на простейшие, изучать процесс образования даже этих простейших и проследить в этих операциях движение разума и развитие его способностей.

Его метафизика, как и метафизика других философов, была таким образом неясной доктриной, основанной то на игре слов, то на простых гипотезах.

Тем не менее, ему мы обязаны этой важной истиной, этим первым шагом в познании человеческого разума, что наши идеи, даже наименее отвлеченные, даже, так сказать, наименее интеллектуальные, обязаны своим происхождением нашим ощущ

щением. Но он эту мысль не подкрепляет подробным изложением. Это было скорее замечание, мимоходом сделанное гениальным человеком, чем результат последовательных наблюдений, анализированных с точностью и комбинированных между собой для получения общей истины; это семя, брошенное на неблагодарную почву, дало полезные плоды только более чем двадцать веков спустя.

В своей логике Аристотель, разлагая доказательства на ряд посылок, приведенных в силлогической форме, разделяя затем все предложения на четыре класса, которые обнимают все отвлеченные типы всех правильных умозаключений из общих положений, учит распознавать между всеми возможными сочетаниями предложений, взятых по три, те из них, которые отвечают заключительным силлогизмам и из которых заключение выводится неизбежно. Посредством этого способа можно судить о справедливости или ложности какого угодно аргумента, зная только, к какому сочетанию он принадлежит; и искусство верно рассуждать некоторым образом подчинено техническим правилам.

Эта остроумная идея осталась неиспользованной до настоящего времени; но, быть может, настанет день, когда она явится первым шагом к усовершенствованию, в котором искусство рассуждать и спорить, повидимому, еще нуждается.

По Аристотелю, каждая добродетель является серединой между двумя пороками, из которых один—дурной поступок, другой—излишество; добродетель—это как бы одна из наших естественных наклонностей, благодаря которой разум помогает нам между крайностями выбирать справедливую середину.

Этот общий принцип он мог почерпнуть из смутных идей порядка и благоприятности (*convenance*), столь обычных тогда в философии, но он его проверил и применял только к словам, которые в греческом языке выражали то, что называли добродетелями.

Около того же времени две новые секты, строя свои учения о морали на противоположных принципах—по крайней мере по их внешнему виду,—разделили умы, распространяли свое влияние далеко за пределами своих школ и ускорили падение греческого суеверия, место которого должно было, к несчастью, скоро занять суеверие еще более мрачное, более опасное и более враждебное просвещению.

Стоики учили, что добродетель и счастье заключаются в обладании душой, равно нечувствительной к наслаждению и страданию, освобожденной от всех страстей, возвышающейся над всеми опасениями и слабостями, считающей истинным благом только добродетель, действительным злом—угрызения совести. Они полагали, что человек в силах подняться на эту высоту, если он этого сильно и твердо пожелает, и что тогда, независимый от судьбы, всегда сам себе господин, человек равно застрахован от порока и от несчастья.

Единый дух оживляет мир: он присутствует всюду, если даже он не все, если даже существует другая вещь кроме него. Человеческие души являются его эманацией. Душа мудреца, не осквернившая чистоту своего происхождения, присоединяется в момент смерти к мировому духу. Смерть, таким образом, была бы благом для мудреца, подчиненного при жизни природе, подверженного тому, что простые люди называют бедствиями, если бы он в силу при-

сущего ему величия не рассматривал ее как безразличную вещь.

Эпикур видит счастье в наслаждении удовольствием и в отсутствии страдания. Добродетель заключается в следовании естественным наклонностям, но нужно уметь их очищать и ими управлять. Воздержание, которое предупреждает страдание, которое, сохранивши наши естественные способности во всей их силе, обеспечивает нам возможность пользоваться всеми наслаждениями, приготовленными нам природой; забота о предохранении себя от страстей злобных или жестоких, которые мучат или терзают сердце, заполняя его скорбью или яростью; забота, напротив, о развитии спокойных и нежных ощущений, доставляя себе наслаждения, вытекающие из добродетельных поступков, о сохранении чистоты своей души, дабы избежать стыда и угрызений совести, являющихся наказаниями за преступления, и иметь возможность наслаждаться тем прекрасным чувством, которым вознаграждаются добрые поступки,—таков путь, ведущий одновременно к счастью и добродетели.

Эпикур видел во вселенной только собрание атомов, различные сочетания которых подчинены необходимым законам. Человеческая душа является одним из этих сочетаний. Атомы, составляющие душу, соединяются в момент, когда тело начинает жить, и расходятся в момент смерти, чтобы присоединиться к общей массе и входить в новые сочетания.

Не желая слишком непосредственно задевать народные предрассудки, он допускал божества; но равнодушные к поступкам людей, непричастные к порядку вселенной и подчиненные, как другие существа,

общим законам мироздания, они были некоторым механическим придатком к этой системе.

Люди жестокие, надменные и несправедливые скрывались под маской стоицизма. Люди сладострастные и развращенные часто заглядывали в сады Эпикура. Принципы эпикуреизма были ложно истолкованы. Говорили, будто бы согласно этому учению высшее блаженство заключается в грубых наслаждениях. Учение мудреца Зенона о том, что раб, вращая жернов или мучимый подагрой, должен тем не менее чувствовать себя счастливым, свободным и суверенным, обратили в насмешку.

Философия, стремившаяся подняться выше природы, и та, которая хотела подчиняться только последней, мораль, не признававшая другого блага кроме добродетели, и та, которая видела счастье только в наслаждении,—обе эти доктрины, проповедуя столь противоположные принципы, говоря на столь различных языках, приводили к одинаковым следствиям. Это сходство нравственных заповедей у всех религий, всех философских сект было бы достаточно, чтобы доказать, что они заключают в себе истину, независимую от догматов этих религий и принципов этих сект. В моральной организации человека следует искать основание его обязанностей, происхождение его идей справедливости и добродетели—истина, от которой эпикурейская секта меньше всякой другой удалялась. И ничто, быть может, не способствовало более возбуждению ненависти к эпикуреизму у лицемеров всех классов, для которых мораль является только предметом торговли, монополию которой они друг у друга оспаривают.

Падение греческих республик повлекло за собой

упадок политических наук. После Платона, Аристотеля и Ксенофона почти перестали включать эти науки в философию.

Но теперь своевременно остановиться на событии, которое изменило судьбу огромной части мира и оказалось на прогресс человеческого разума влияние, продолжающееся до настоящего времени.

За исключением Индии и Китая почти на все нации, где человеческий разум поднялся выше своего беспомощного младенческого состояния, город Рим распространил свое господство.

Он явился законодателем всех тех стран, куда греки вносили свой язык, свои науки и свою философию. Все эти народы, скованные цепью, которой победа приковала их к подножию Капитолия, существовали только по воле Рима и для удовлетворения страстей его властелинов.

Истинная картина государственного устройства этого господствовавшего города отнюдь не будет чужда предмету настоящего труда: мы увидим происхождение наследственного патрициата и искусные комбинации, примененные для предоставления ему большей устойчивости и большей силы, делая его в то же время менее ненавистным; народ, владеющий оружием, но не полнимающий его никогда в своих домашних смутах, сообщающий действительную силу законной власти и едва защищающийся против надменного сената, который, опутав его суеверием, ослеплял его блеском своих побед. Мы увидим великую нацию, которой попеременно играют ее тираны и ее защитники, страдалицу, обманутую в течение четырех веков нелепым, но священным способом подачи голосов.

Мы увидим этот государственный строй, который, созданный для одного города, оставался неизменным по форме, изменившись в своей сущности, когда его нужно было распространить на великую империю, который мог поддерживаться только беспрерывными войнами и который был разрушен скоро собственными легионами. Наконец, мы увидим царственный народ, униженный привычкой питаться за счет общественных богатств, развращенный щедротами сенаторов, продающий призрачные остатки бесполезной свободы.

Честолюбие римлян побуждало их искать в Греции учителей того искусства красноречия, обладание которым служило в Риме залогом успеха. Склонность к исключительным и утонченным наслаждениям, потребность в новых удовольствиях, развиваемые богатством и праздностью, заставляли их искать удовлетворения в занятиях искусствами греков и даже в беседах с их философами. Но науки, философия, живопись были всегда растениями, чуждыми римской почве. Жадность победителей покрыла Италию образцами произведениями Греции, похищенными силой из храмов и городов, которые они украшали и где они служили утешением для рабов. Но ни один римлянин не поднялся до непревзойденного искусства греческих мастеров. Цицерон, Лукреций и Сенека красноречиво писали на своем языке о философии, но речь шла о греческой философии, и для того чтобы реформировать варварский календарь Нумы, Цезарь вынужден был обратиться за содействием к математику из Александрии.

Раздираемый в течение долгого времени заговорами честолюбивых полководцев, увлекаемый новыми

завоеваниями или волеуемый гражданскими междуобщинцами, Рим лишился, наконец, своей беспокойной свободы и подпал под иго еще более буйного военного деспотизма. Разве могли иметь место спокойные занятия философией или науками при тираническом режиме повелителей Рима или, затем, при деспотах, которые боялись истины или одинаково ненавидели таланты и добродетели? Впрочем, наука и философия неизбежно пренебрегаются во всякой такой стране, где блестящая карьера, ведущая к богатству и почестям, открыта для всех тех, естественная склонность которых влечет их к знанию; такова была в Риме карьера юриста.

Когда законы, как на Востоке, связаны с религией, право их толкования становится одной из наиболее сильных опор жреческой тиарии. В Греции они составляли части кодекса, данного каждому городу своим законодателем. Они были согласны с духом государственного строя и образом правления, которые он установил. Они редко подвергались изменениям. Должностные лица там часто злоупотребляли своими полномочиями, частные несправедливости бывали нередко, но недостатки законов никогда не приводили к системе правильного и холодно рассчитанного грабежа. В Риме, где долгое время авторитетом пользовались только традиционные обычай, где судьи каждый год объявляли, согласно каким принципам они в течение срока своих полномочий решали представленные на их усмотрение дела, где первые писанные законы представляли собой компиляцию из греческих законов, составленную децемвирами, которые больше заботились о сохранении своей власти, чем о чести Рима, дав ему хорошие законы. В Риме,

где, начиная с этой эпохи, законы, непрерывно продиктованные то сенатской, то демократической партией, чередовались быстро, беспрестанно уничтожались или утверждались, исправлялись или дополнялись новыми постановлениями,—многочисленность, запутанность и неясность законов, неизбежное следствие изменения языка, скоро породили специальную науку, посвященную их изучению и толкованию. Сенат, эксплуатировавший уважение народа к старым учреждениям, скоро понял, что привилегия толковать законы стала почти равносильной праву создавать новые, и он наполнился юристами. Их могущество перекило власть самого сената. Оно увеличилось при императорах, ибо влияние их тем сильнее, чем законодательство более своеобразно и переменчиво.

Юриспруденция является, таким образом, единственной чистой наукой, которой мы обязаны римлянам. Мы начертаем историю этой науки, которая тесно связана с историей развития законодательства у современных народов и в особенности с историей затруднений, которые оно встречало на своем пути.

Мы покажем, каким образом уважение римлян к положительному праву способствовало сохранению некоторых идей естественного права, чтобы затем преодолевать развитию и распространению этих идей, каким образом мы обязаны римскому праву немногими полезными истинами и более многочисленными тираническими предрассудками.

Мягкость уголовных законов в республиканском Риме заслуживает того, чтобы мы остановили на них наше внимание. Они как бы сделали священной кровь римского гражданина. Смертная казнь могла быть совершена над ним только по распоряжению чрез-

вычайной власти, которая объявляла общественное бедствие или опасность отечества. Только весь народ мог присвоить себе право стать судьей между одним человеком и республикой. Римские законодатели понимали, что эта мягкость наказания является у свободного народа единственным средством для устранения возможности превращать политические раздоры в кровавые побоища. Они хотели человечностью законов смягчить жестокость нравов того народа, который даже в своих играх проливал кровь своих рабов. И поэтому, останавливаясь на времени Гракхов, мы увидим, что ни в одной стране политические бури, столь жестокие и столь часто повторяющиеся, никогда не стоили меньше крови, не вызывали меньше преступлений.

Римляне не оставили нам ни одного произведения по политике. Сочинения Цицерона о законах были вероятно только умело обработанной выдержкой из греческих книг. Почва Рима, где умирающая свобода билась в предсмертных судорогах, была слишком неблагоприятна для того, чтобы социальная наука могла там прививаться и совершенствоваться. При деспотическом режиме цезарей на изучение этой науки смотрели только как на стремление к ниспрровержению существующего строя. Ничто однако не доказывает нам лучше, насколько она была всегда чужда римлянам, как тот единственный до сих пор в истории факт, что при беспрерывном следовании от Нервы до Марка Аврелия пяти императоров, которые соединяли в своем лице добродетели, таланты, знания, любовь к славе, ревнивое отношение к общественному благу, ни один из них не создал ни одного учреждения, которое свидетельствовало бы о желан-

нии ограничить деспотизм, предупредить революцию и крепче стянуть новыми узами отдельные части этой несметной массы, которой все предвещало грядущее разложение.

Соединение стольких народов под единой властью, распространение двух языков, господствовавших в империи и хорошо знакомых почти всем образованным людям, должны были, без сомнения, способствовать более широкому и равномерному распространению просвещения. В силу их естественного влияния должны были также постепенно сглаживаться различия, разделявшие философские секты, должна была создаться единая школа, которая извлекала бы из каждой доктрины возврания, наиболее отвечающие разуму, те, которые после тщательного исследования наиболее подтверждались бы. Именно по этому пути разум должен был повести философов, когда ослабевший под влиянием времени дух сектантства пополнил прислушивающиеся только к его голосу. И действительно, уже у Сенеки мы встречаем некоторые начатки этой философии; она никогда не была чужда даже академической секте, которая затем почти всецело растворилась в ней. Последние ученики Платона были основателями эклектизма.

Почти все религии империи считались национальными. Но все имели также много общего и как бы фамильное сходство. Отсутствие метафизических догм, обилие странных обрядов, смысл которых был совершенно непонятен народу и часто даже жрецам, пелепая мифология, в которой толпа видела только чудесную историю своих богов, а люди более образованные подозревали аллегорическое изложение более возвышенных догматов, кровавые жертвы, идолы,

представлявшие богов, из которых некоторым, освященным временем, приписывалось небесное свойство; главные жрецы, посвященные культу каждого божества, не образующие единого политического тела, не объединенные даже в религиозную общину, оракулы, причисленные к известным храмам, к известным статуям; наконец, тайны, которые их иерофанты сообщали только как секрет, ненарушимость которого охраняется законом,—таковы были черты сходства у этих религий.

Нужно к этому еще добавить, что жрецы, являясь религиозными цензорами, никогда не осмеливались претендовать на роль судей в области морали. Они руководили обрядами культа, но не вмешивались в частную жизнь. Они продавали политику оракулов или авгуротов, они могли вовлекать народы в войны, побуждать их к преступлениям, но они не оказывали никакого влияния ни на правительство, ни на законы.

Когда между народами, подданными одной и той же империи, установились регулярные сношения, когда успехи просвещения стали почти всюду одинаковыми, образованные люди скоро заметили, что все культы предполагают поклонение единому богу, божества же столь многочисленные, объекты непосредственного народного обожания, являются только его видоизменениями или помощниками.

Между тем у галлов и в некоторых восточных провинциях римляне находили религии другого рода. Там жрецы были судьями народной нравственности; добродетель состояла в повиновении воле бога, объяснить которую они считали единственными способными лишь себя. Их власть распространялась на человека целиком; храм смешивался с отечеством; там люди

были поклонниками Иеговы, прежде чем быть гражданином или подданным империи, и жрецы определяли, каким человеческим законам их бог позволяет повиноваться.

Эти религии должны были оскорблять чувство гордости владык мира. Религия галлов была слишком могущественна, чтобы они не поторопились ее уничтожить. Израильский народ был рассеян; но бдительность правительства или пренебрегала этими мрачными сектами, которые тайно образовались на развалинах древних культов, или не могла их выявить.

Благотворное влияние распространения греческой философии выражалось, между прочим, в том, что она разрушила веру в народные божества во всех классах, получивших более или менее широкое образование. Смутный теизм или чистый механицизм Эпикура были даже во времена Цицерона обычной доктриной ленивого мыслящего человека, всех тех, кто руководили общественными делами. Этот класс людей по необходимости исповедовал старую религию, но стремился очищать ее, ибо множество божеств, чтиемых в разных странах, потеряло доверие даже в глазах народа. Мы видим тогда образование философских систем, основанных на учении о гениях, посредниках между людьми и богом. Философы подвергают себя очищениям, религиозному режиму, исполняют соответствующие обряды, чтобы стать достойными небесного откровения; и основание этой доктрины они искали в диалогах Платона.

Народная масса покоренных наций, обиженные судьбой люди пылкого, но слабого воображения должны были по преимуществу склоняться к священни-

ческим религиям, ибо господствующее духовенство своекорыстно проповедовало им именно эту доктрину равенства в рабстве, отречения от временных благ, небесного воздаяния, приуготовленного за слепое подчинение, за страдания, за добровольные или терпеливо перенесенные унижения,—доктрину, столь соблазнительную для угнетенного человечества. Но оно считало нужным прикрасить некоторыми философскими хитростями свою грубую мифологию; и оно также обратилось за помощью к Платону. Его диалоги были арсеналом, где обе партии выковывали свое теологическое оружие. Мы увидим впоследствии, как на долю Аристотеля выпадает подобная честь, и он является одновременно повелителем теологов и главой атеистов.

Двадцать еврейских, египетских сект, подрывая общими силами основы имперской религии, но продолжая с неменьшей яростью вести борьбу между собой, в конце концов растворились в религии Иисуса. Из обломков этих сект создали историю, верование, обряды и мораль, к которым постепенно присоединилась масса фанатиков.

Все верили в пришествие спасителя, мессии, посланного богом для исправления человеческого рода. Это—основная догма всякой секты, которая строит здание своей религии на развалинах древних верований. Спор шел относительно времени и места его появления, о его человеческом имени; но имя пророка, который, говорят, появился в Палестине при Тиберию, затмило все другие, и новые фанатики объединились под знаменем сына Марии.

Чем больше империя слабела, тем быстрее распространялась христианская религия. Унижение древ-

них завоевателей мира разделяли и их божества, которые, некогда руководители их побед, были теперь только бессильными свидетелями их поражений. Дух новой секты лучше соответствовал времени упадка и неудач. Ее главари, невзирая на их обманы и пороки, были энтузиастами, готовыми погибнуть за свою доктрину. Религиозное рвение философов и вельмож было только политической набожностью. Всякая религия, которую стали бы отставивать как верование, полезное для народа, могла рассчитывать только на более или менее продолжительную агонию. Скоро христианская секта становится могущественной партией; она вмешивается в споры цезарей, она возводит на трон Константина и сама садится на нем рядом с его слабыми преемниками.

Напрасно один из тех необыкновенных людей, которых случай иногда поднимает до высшего могущества, Юлиан, хотел избавить империю от этого бича, который должен был ускорить ее падение.

Его добродетели, его человечность, простота его прина, нозвышенность его души и характера, его таланты, его храбрость, его гениальные военные способности, блеск его побед—все, казалось, обещало ему успех. Юлиана можно было упрекнуть только в том, что он выказывал к религии, ставшей, смехотворной пренизанием, недостойную его, если он был искренним и свидетельствующую о его неловкости, если его чрезмерное рвение было только политическим маневром. Он погиб в расцвете своей славы после двухлетнего царствования. Колoss римской империи не находил более достаточно сильных рук, способных его поддержать, и со смертью Юлиана пал единственный оплот, который мог еще оградить

империю от наплыва новых суеверий, как и от вторжений варваров.

Презрение к гуманитарным наукам было одной из характерных черт христианства. Оно мстило философии за нанесенные ему оскорблении; оно боялось духа исследования и сомнения, той веры в свой собственный разум, которая является бичом для всех религиозных верований. Свет естественных наук был ему даже ненавистен и подозрителен, ибо они чрезвычайно опасны для успеха чудес. Нет такой религии, последователям которой не приходилось бы закрывать глаза на некоторые физические нелепости. Таким образом, торжество христианства было сигналом полного упадка и наук и философии.

Науки могли бы избежать своей участи, если бы искусство книгопечатания тогда было известно; но рукописные экземпляры какой-либо книги были немногочисленны. Собирание полного комплекта произведений, трактующих о какой-либо науке, сопряжено было с большими хлопотами, часто даже путешествиями и расходами, которые могли себе позволить только богатые люди. Господствующей партии было нетрудно уничтожить книги, которые оскорбляли ее предрассудки или раскрывали ее обманы. Нашествие варваров могло в один день навсегда лишить страну средств образования. Уничтожение одной какой-либо рукописи часто было для всей страны непоправимой потерей. К тому же копировались только труды выдающихся авторов. Все те исследования, которые могли приобрести значение только при объединении всего материала, те изолированные наблюдения, те детальные усовершенствования, которые укрепляют положение, занятое науками, и под-

готавляют их дальнейший прогресс,—все эти материалы, накопленные временем и ожидающие гения, который бы их использовал, были обречены остаться навеки во мраке. Солидарность ученых, единение их сил, столь полезные и даже необходимые в известных эпохах, не существовали. Нужно было, чтобы одни и тот же человек мог начать и окончить какое-либо открытие; и он был вынужден бороться один против всех препятствий, которые природа противопоставляет нашем усилиям. Произведения, которые облегчают изучение наук, устраниют затруднения, предстаивают истины в более удобных и простых формах, эти детальные наблюдения и подробные изложения, которые часто способствуют обнаружению ошибочности выводов и в которых читатель улавливает то, чего автор сам не замечал,—эти произведения не могли бы находить ни переписчиков, ни читателей.

Таким образом, невозможно было, чтобы науки, достигшие уже такого объема, что и прогресс и даже их читательское изучение встречали серьезные затруднения, могли бы сами удержаться и устоять на той покатой плоскости, по которой они быстро увлекались к своему падению. И мы не должны удивляться тому, что христианство, которое впоследствии, после изобретения книгопечатания, не могло помешать блестящему возрождению наук, было тогда достаточно сильно, чтобы довершить их гибель.

За исключением драматического искусства, процветавшего только в Афинах, обреченного пасть вместе с ними, и красноречия, способного жить только в атмосфере свободы, язык и литература греков сохранили надолго свой блеск. Люций и Плутарх были достой-

ными современниками века Александра. Правда, Рим поднялся на уровень Греции в поэзии, красноречии, истории, в искусстве рассуждать с достоинством, изяществом и приятностью об отвлеченных предметах философии и наук. Греция сама не имела поэта, который дал бы подобно Виргилию идею совершенства: ни один из ее историков не мог бы сравниться с Тацитом. Но этот момент блеска сопровождался быстрым упадком. Со временем Люция писателями Рима были почти только варвары. Иоанн Златоуст говорит еще языком Демосфена. Но ни у Августина, ни даже у Иеронима (которому едва ли может служить оправданием влияние на него африканского варварства) мы не встречаем более языка Цицерона или Тита Ливия.

И это потому, что изучение литературы, любовь к искусствам не были никогда в Риме истинной народной склонностью; что временное усовершенствование языка было делом рук не национального гения, но нескольких людей, воспитанных Грецией; что территория Рима была всегда почвой, чуждой литературе, где благодаря усердию насаждению она могла восприниматься, но где она, предоставленная самой себе, должна была вырождаться.

Значение, которым долго пользовался в Риме и Греции талант трибуна и адвоката, обусловило образование многочисленного класса риторов. Их труды способствовали прогрессу ораторского искусства, принципы и тонкости которого они развили. Но они обучали также другому искусству, которым слишком пренебрегают современные народы и которое следовало бы теперь применять также к печатным произведениям. Это—искусство легко и скоро

приготовлять речь так, чтобы расположение ее частей, способ ее произнесения, украшения, которыми она уснащается, становились по крайней мере сносными. Это было искусство, дающее возможность говорить почти экспромтом, не утомляя своих слушателей разбродом своих идей, неровностью стиля, не возмущая их нелепыми декларациями, грубыми поисенсами, странными несообразностями. Сколько полезно было бы это искусство во всякой стране, где обязанности службы, общественный долг или частный интерес могут заставить говорить или писать, не давая времени обдумывать свои речи или сочинения! История этого искусства тем более заслуживает нашего внимания, что современные народы, которым оно, между прочим, было бы часто необходимо, повидимому, ознакомились только с его смешной стороной.

В начале эпохи, картину которой я здесь заканчиваю, количество книг значительно увеличилось, прогрессивное преми внесло много путаницы в книги первых греческих писателей, и это изучение книг и воззрений, известное под именем эрудиции, образовало значительную часть умственных трудов: Александрийская библиотека пополнялась грамматиками и произведениями критиков.

Дошедшие до нас произведения этого рода свидетельствуют о склонности их авторов соразмерять свое восхищение или доверие к книге с древностью ее происхождения, со степенью трудности ее понимания или нахождения. Было принято судить о воззрениях не по их содержанию, но по имени их авторов; верить авторитету скорее, чем разуму; наконец, в этих же произведениях мы встречаем идею столь ложную и столь гибельную—об упадке человеческого рода

и о превосходстве древних. Значение, которое люди приписывают тому, что составляет предмет их занятий, тому, что им стоило многих усилий, является одновременно объяснением и извинением тех заблуждений, которые эрудиты всех стран и всех времен более или менее разделяли.

Можно упрекнуть греческих и римских эрудитов и даже их ученых и философов в том, что они абсолютно игнорировали тот дух сомнения, который подвергает строгому исследованию разум и факты и их доказательства. Просматривая в их сочинениях историю событий или нравов, производства и явлений природы или произведений и процессов искусств, просто поражаешься, видя, как они спокойно рассказывают о явных недостатках и о чудесах, возмутительных по своему обману. Слово говорят, расказывают, помещенное в начале фразы, казалось им достаточным, чтобы укрыться под защитой смехотворной и ребяческой легковерности. Индифферентизм, исказивший у них изучение истории и явившийся препятствием к развитию их познания природы, следует, главным образом, приписать тому, что искусство книгопечатания, к несчастью, не было еще тогда известно. Возможность собрать относительно каждого факта все авторитеты, которые могут его подтвердить или опровергнуть, легкость сравнения различных свидетельств, освещения их в спорах, возникающих, когда эти свидетельства не совпадают,—все эти средства, гарантирующие нахождение истины, мыслимы только тогда, когда возможно располагать большим количеством книг, неограниченно увеличивать число их копий и не бояться увеличения их объема.

Каким образом сообщения путешественников, описания, которые часто существовали только в одной копии, отнюдь не подвергавшиеся общественной цензуре, могли бы приобретать такой авторитет, если бы не то обстоятельство, что противоречие этих сообщений не могло быть установлено? Таким образом, принималось одинаково все, ибо трудно было выбрать с некоторой уверенностью то, что действительно заслуживало внимания. Впрочем, мы не вправе удивляться той легкости представлять с одинаковым доверием, опираясь на равные авторитеты, факты наиболее естественные и наиболее чудесные, легкости, свойственной писателям этой эпохи. Это заблуждение преподается еще теперь в наших школах как философский принцип, между тем как преувеличенное в обратном смысле приводит нас к отрицанию без исследования всего того, что нам кажется сверхъестественным. Наука, которая одна только может научить нас находить между этими двумя крайностями точку, где разум предписывает нам остановиться, зародилась только в наши дни.



## ШЕСТАЯ ЭПОХА

---

---

### УПАДОК ПРОСВЕЩЕНИЯ ДО ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ КО ВРЕМЕНИ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

**B** эту несчастную эпоху мы увидим, как человеческий разум быстро спускается с высоты, на которую он поднялся, и как невежество влечет за собой здесь дикость, там утонченную жестокость—всюду разложение и вероломство. Некоторые проблемы таланта, некоторые черты величия души или личности едва могут прорезать этот глубокий мрак ночи. Теологические бредни, суеверные обманы—единственные проявления человеческого духа, религиозная нетерпимость—единственная мораль людей; и Европа,

сдавленная между тиерией духовенства и военным деспотизмом, вся в крови и слезах, ждет момента, когда новое просвещение позволит ей возродиться к свободе, гуманизму и добродетелям.

Здесь нам приходится разделить картину на две различные части; первая обнимет Запад, где упадок был более быстрым, более полным, но где свет разума должен был вновь появиться, чтобы уже никогда не погаснуть; и вторая—Восток, для которого этот упадок был более медленным, долго менее полным, но для которого еще не наступил момент, когда разум сможет его просветить и разбить его цепи.

Едва только христианское благочестие воздвигло алтарь своей победы, как Запад стал добычей варваров. Последние приняли новую религию, но не усвоили языка побежденных. Только духовенство сохранило его, и благодаря его невежеству, его презрению к гуманитариям наукам мы не видим тех результатов, которые можно было бы получить от чтения латинских книг, так как отныне эти книги могли читать только священники.

Невежество и варварские нравы победителей достаточно известны; между тем, именно из среды этой тупой жестокости вышло уничтожение домашнего рабства, которое позорило прекрасную жизнь ученоей и свободной Греции.

Крепостные обрабатывали поля победителей. Этот угнетенный класс доставлял им домашнюю прислугу, зависимость которой была достаточной для удовлетворения их надменности и капризов. Они, таким образом, искали в войне не рабов, а земли и земледельцев.

Сверх того, рабы, которых они находили в завоеванных странах, были большую частью или плени-

ками, взятыми у какого-нибудь племени победоносным народом, или детьми этих плеников. В момент завоевания большое количество рабов бежало или присоединялось к армии завоевателей.

Наконец, принципы всеобщего братства, входящие в христианскую мораль, осуждали рабство; и духовенство, не имея никакого политического интереса противоречить своим поведением тем правилам, которые украшали их учение, помогло своими проповедями уничтожению рабства, к которому события и нравы должны были привести.

Этот акт был зародышем переворота в судьбе человеческого рода; благодаря этому человечество получило возможность познать истинную свободу. Но на судьбу отдельных людей он сначала оказал лишь едва заметное влияние. Мы составили бы себе ложное представление о рабстве у древних, если бы сравнили его с положением наших черных невольников. Правда, спартанцы, римские вельможи, восточные сатрапы были хозяевами-варварами. Жадность проявляла всю свою жестокость при работах в рудниках; но почти всюду польза рабов смягчала их положение в семьях. Безнаказанность насилий, чинимых над крепостными, была еще больше, ибо сам закон не определял возмездия. Зависимость была почти равная, не будучи однако вознаграждаема в той же мере заботами и помощью. Унижение было не столь сплошное, но высокомерие проявлялось сильнее. Раб был человеком, случайно очутившимся в положении, в которое исход войны мог когда-нибудь поставить и его хозяина. Крепостной был представителем низшего и униженного класса.

Таким образом, мы должны преимущественно рас-

сматривать это уничтожение домашнего рабства только в его отдаленных последствиях.

Все эти варварские нации имели почти одинаковое государственное устройство: общий предводитель, называемый королем, который при участии совета разбирал дела и выносил приговоры в тех случаях, когда замедление решений представлялось опасным; собрание предводителей отдельных племен решало все маловажные дела; наконец, народное собрание, где принимались решения по вопросам, интересовавшим весь народ. Наиболее существенные различия между этими институтами выражались в большем или меньшем авторитете этих трех властей, которые отличались не по природе своих функций, но по свойству дел, и в особенности по интересу, который они возбуждали у массы граждан.

У этих земледельческих народов и в особенности у тех, которые уже обосновались на чужой территории, эти учреждения приняли формы более правильные и более постоянные, чем у пастушеских народов. К тому же народ был рассеян и не образовал более или менее многолюдных лагерей. Таким образом, король не имел вокруг себя всегда собранной армии, и деспотизм не являлся здесь неизбежным последствием завоевания, как в азиатских революциях.

Итак, нация-победительница не порабощалась. В то же время завоеватели занимали города, но сами их не заселяли. Не сдерживаемые вооруженной силой, так как постоянной армии не существовало, города приобретают некоторое могущество; и это обстоятельство было точкой опоры для свободы побежденной нации.

Варвары часто вторгались в Италию, но они не могли здесь прочно обосноваться, ибо ее богатства беспрестанно возбуждали жадность новых завоевателей и греки долгое время питали надежду присоединить ее к своей империи. Никогда она не была порабощена ни одним народом ни вся целиком, ни на продолжительное время. Латинский язык, единствено употреблявшийся народом, искажался здесь медленнее, невежество здесь было также не столь искаженное, суеверие не столь тупое, чем в остальных странах Запада.

Рим, признававший над собой начальников только для того, чтобы их сменять, сохранил некоторую независимость. Он был резиденцией главы религии. Таким образом, мы видим, что, в то время как на Востоке, подчиненном одному государю, духовенство, то управляя императорами, то устраивая заговоры против них, поддерживало деспотизм даже тогда, когда оно боролось с деспотом и предпочитало пользоваться всей полнотой власти абсолютного властелина, чем оспаривать у него часть этой власти,—на Западе священники, объединенные властью общего главы, напротив, образуют силу, соперничающую с королевской властью, и создают в этих разделенных государствах своего рода единую и независимую монархию.

Мы покажем, как этот царственный город пытается опутать вселенную цепями новой тирании, как его первосвященники порабощают невежественную доверчивость грубо сфабрикованными актами. Они вмешивают религию во все проявления гражданской жизни, чтобы играть ею в угоду своей жадности или высокомерия, наказывают ужасной анафемой, страх

перед которой поражал умы народов, разбивая их малейшее сопротивление папским законам и бессмыслицами требованиям. Имея во всех государствах армию монахов, всегда готовых своими обманами порождать суеверные ужасы, чтобы еще сильнее вызывать фанатизм, они лишают народы культа и обрядов, на которых покоятся их религиозные упования, чтобы подстрекать их к гражданской войне, возмущают одних против других, чтобы над всеми господствовать, предписывают именем бога вероломство и предательство, убийства и отцеубийства, превращают попеременно королей и воинов в орудия и жертвы своей мстительности. Располагая силой, но никогда ею не обладая, страшные своим врагам, но дрожащие перед своими собственными защитниками, они всесильны во всей Европе до ее крайних границ и безнаказанно оскорбляются у самого подножия своих алтарей. Они отыскали им небо точку опоры для рычага, который должен был поколебать мир, они однако же не могли найти на земле регулятора, который мог бы по их усмотрению направлять и сохранять его действие. Наконец мы покажем, как они воодушевили колосс, но на глиняных ногах, который и после освобождения Европы из-под его гнета должен был еще долго давить ее тяжестью своих обломков.

Завоевание подчинило Запад беспорядочной анархии, при которой народ стонал под тройной тиранией — королей, полководцев и духовенства; но эта анархия носила в своих недрах зародыши свободы. Под этой частью Европы должно разуметь те страны, куда римляне не проникали. Народы этих стран, увлекаемые общим движением, будучи попеременно

завоевателями и покоренными, имея общее происхождение и одинаковые нравы с завоевателями империи, смешались с последними в общую массу. Их политическое устройство должно было испытать те же изменения и следовать по аналогичному пути.

Мы начертаем картину революций этой феодальной анархии, имя которой служит для ее характеристики.

Законодательство этих стран было запутанным и варварским. Если мы там часто находим мягкие законы, то этот кажущийся гуманизм был только опасной безнаказанностью. Тем не менее мы встречаем у них некоторые драгоценные учреждения, которые, правда, освящая только права класса угнетателей, были еще большим оскорблением для угнетенных, но они, по крайней мере, сохраняли некоторую слабую идею права и должны были когда-нибудь послужить путеводителем для его признания и восстановления.

Это законодательство отличалось двумя своеобразными обычаями, которые характеризуют и младенчество народов и невежество грубых веков. Виновный мог откупить себя от наказания за определенную сумму денег, установленную законом, который оценивал жизнь людей сообразно их общественному положению или происхождению. Преступление не рассматривалось как посягательство на общественную безопасность, на права граждан, которое страх наказания должен был предупредить, но как оскорблечение, нанесенное индивидууму, за которое он сам или его семья имели право отомстить и за которое закон предлагал им наиболее полезное возмещение. Идея доказательств, которыми может подтверждаться действительность факта, была им настолько чужда,

что для отличия преступления от невиновности считали более простым каждый раз обращаться к небу и просить чуда; и успех какого-нибудь суеверного опыта или исход борьбы рассматривались как пути, наиболее верные для открытия и признания истины.

У людей, которые смешивали понятия независимости и свободы, споры между владельцами даже самых незначительных участков должны были превращаться в частные войны, и эти войны, перебрасываясь из округа в округ, из деревни в деревню, обыкновенно подвергали всю территорию каждой страны всем тём ужасам, которые являются, по крайней мере, лишь временными в великих нашествиях, а в общих войнах поражают только границы.

Всякий раз, когда тирания в том или ином своем проявлении стремится подчинить народную массу своей полю, она учитывает в числе своих средств предрассудки и невежество своих жертв; она старается сплошностью и активностью меньшинства компенсировать количественное превосходство массы, которой, казалось бы, только и может принадлежать реальная сила. Но последний предел ее надежд, предел, которого она редко может достигать,—это установить между господами и рабами действительное различие, которое самую природу как бы делает типичней политического неравенства.

Таково было в отдаленные времена искусство восточных жрецов, когда мы видели их одновременно королями, первосвященниками, судьями, астрономами, землемерами, художниками и врачами. Но то, чем они обязаны были исключительному обладанию духовными способностями, грубые тираны наших слабых предков достигали своими учреждениями

и своими военными навыками. Покрытые непроницаемыми доспехами, сражаясь только на неуязвимых, как они сами, лошадях, приобретая силу и ловкость, необходимые для дрессировки лошадей, верховой езды и умения носить и владеть оружием, только путем долгого и трудного обучения, они могли безнаказанно угнетать и убивать без риска простого человека, который был не настолько богат, чтобы обзавестись дорогостоящим вооружением, и который в молодости, занятый полезным трудом, не мог посвятить себя военным упражнениям.

Таким образом, тирания небольшого числа насильников благодаря этой манере сражаться приобрела действительное превосходство в силе, которая должна была предупреждать всякую попытку сопротивляться и сделать надолго бесполезными даже усилия отчаяния. Так естественное равенство исчезло перед этим искусственным неравенством физических сил.

Мораль, проповедуемая только духовенством, заключала те универсальные принципы, которых ни одна секта не отрицала; но она создала массу чисто религиозных обязанностей и воображаемых грехов. Эти обязанности сильнее рекомендовались, чем естественные, и поступки невинные, законные, часто даже добродетельные гораздо строже порицались и наказывались, чем действительные преступления. Между тем, раскаяние, освященное отпущением грехов священника, открывало злодеям врата рая. Дары церкви и исполнение некоторых церковных предписаний, льстивших самолюбию грешника, были достаточны, чтобы искупить жизнь, отягченную преступлениями. Дошли даже до того, что установили тариф на эти отпущения. Понятие «грех» старательно ра-

спространялось на все, начиная от самых невинных слабостей любви, от простых желаний до уточненности и безумств самого грязного разврата. Понятно, что никто не мог избежнуть этой цензуры, и торговля индульгенциями явилась одной из наиболее доходных статей для духовенства. Предполагалось, что церковь может сократить срок пребывания в аду грешников и даже совсем помиловать их, и священники продавали это помилование сначала живым, затем родителям и друзьям мертвых. Они продавали небесные блага за равное количество земных и были настолько скромны, что не требовали сдачи.

Нравы этой мрачной эпохи достойны были системы, столь глубоко безнравственной.

Далее мы видим развитие этой самой системы: монахов, то возрождающих старые чудеса, то фабрикующих новые, питающих баснями и чудесами тупое несчастье народа, который они в целях грабежа всячески обманывают; ученых, изощряющих все свое воображение, чтобы обогатить свою веру новой нелепостью и, таким образом, перешеголять тех, от кого они эту веру унаследовали; священников, заставляющих государей предавать огню и людей, которые осмеливались или сомневаться в истинности хотя бы одного из их догматов, или раскрывать их обманы, или возмущаться их преступлениями, и тех, кто на минуту уклоняется от слепого подчинения, наконец, до самих теологов, когда они позволяли себе иначе мыслить, чем главари, пользующиеся большим доверием церкви. Такова в эту эпоху картина нравов в западной части Европы.

На Востоке, объединенном под единодержавной властью деспота, мы увидим более медленный упадок,

сопровождающий постепенное ослабление империи; мы увидим, что невежество и развращенность каждого века превышали на несколько степеней невежество и развращенность прошедшего века, между тем как богатства уменьшались, границы империи приближались к столице, революции же учащались и тираны становились более трусливой и более жестокой.

Прослеживая историю этой империи, читая книги, написанные в разные века, даже менее опытные и менее внимательные люди поразятся этим совпадением.

На Востоке народ более предавался теологическим спорам: последние занимали здесь большее место в истории и более влияли на политические события; богословские бредни проповедовались здесь с такой тонкостью, до которой завистливый Запад не мог еще додуматься. Религиозная нетерпимость носит также притеснительный характер, но она менее жестока.

Однако произведения Фотия свидетельствуют о том, что склонность к разумным занятиям не была утрачена. Некоторые императоры, принцы и даже принцессы не ограничивались честью блестать в теологических спорах, но изучали также гуманитарные науки.

Римское законодательство медленно искажалось здесь той примесью дурных законов, которые жадность и тираны диктовали императорам или которые последние признавали под давлением суеверия. Греческий язык потерял свою чистоту и свои характерные особенности, но он сохранил свое богатство, свои формы и свою грамматику. Жители Кон-

станинополя могли еще читать Гомера, Софокла, Фукидида и Платона. Анфемиус изложил устройство зеркал Архимеда, которыми Прокл успешно пользовался для защиты столицы. К моменту падения империи в Константинополе находились некоторые выходцы из Италии, познания которых способствовали прогрессу просвещения. Таким образом, в эту самую эпоху Восток не упал еще до последней степени варварства, но ничто здесь также не давало надежды на возрождение. Он стал добычей варваров; его жалкие остатки исчезли, и древний гений Греции ждет еще своего освободителя.

На окраинах Азии и на границах Африки существовал народ, который благодаря географическому положению своей страны и своей храбрости избежал завоеваний персов, Александра и римлян. Для некоторых из его многочисленных племен источником существования служило земледелие, другие продолжали вести пастушеский образ жизни; все они занимались торговлей, а некоторые грабежом. Связанные общностью происхождения, языка и некоторых религиозных обычаяев, они образовали великую нацию, различные части которой однако не были объединены никакими политическими узами. Вдруг из их среды выделился человек<sup>1</sup>, одаренный пылким воображением и глубоким политическим умом, родившийся с талантами поэта и воина. Он задумал смелый план объединить в одно политическое тело арабские племена, и у него хватило храбрости его осуществить. Для того чтобы подчинить власти одного начальника не обузданный еще тогда народ, он на-

---

<sup>1</sup> Речь идет о Магомете (571—632 гг.). — Прим. ред.

чал с того, что из обломков древнего культа создал новую, более очищенную религию. Законодатель, пророк, первоосвященник, судья, главнокомандующий армией—все средства для подчинения людей были в его руках, и он умел ими пользоваться с ловкостью, но вместе тем и с авторитетом.

Он рассказывал много басен, которые он будто бы получил путем откровения; но он одерживал победы. Свободное время он проводил в молитве и любовных наслаждениях. После двадцатилетнего царствования, в течение которого он пользовался неограниченной властью, примера которой не знает история, он объявил, что, если им совершена несправедливость, он готов ее исправить. Все молчало; одна только женщина осмелилась потребовать небольшой суммы денег. Он умер, и энтузиазм, который он сообщил своему народу, вызвал изменение лица трех частей мира.

Нравы арабов отличались возвышенностью и мягкостью; они любили поэзию и занимались ею; и когда они господствовали в наиболее красивых странах Азии, когда время успокоило лихорадку религиозного фанатизма, склонность к литературе и наукам присоединилась к их усердию в распространении веры и укрощала их страсть к завоеваниям.

Они изучали Аристотеля, произведения которого они перевели на свой родной язык. Они занимались астрономией, оптикой, медициной во всех ее видах и обогатили эти науки некоторыми новыми истинами. Им мы обязаны обобщением метода алгебры, ограниченной у греков одним только кругом вопросов. Если химерическое искание секрета преобразовывать простые металлы в благородные и приготовлять напиток бессмертия оскверняло их химию, то именно

они возродили или, скорее, изобрели эту науку, до того времени смешанную с фармацией или наукой о процессах производства. Именно у них она впервые начинает заниматься анализом тел, элементы которых она распознает и является теорией их сочетаний и законов, которым эти сочетания подчинены.

Науки у них были свободны, и этой свободе они обязаны тем, что сумели воскресить некоторые искры греческого гения; но они были подчинены деспотизму, освященному законом. И потому этот свет сиял недолго, уступив место густому мраку. Труды арабов погибли бы для человеческого рода, если бы они не послужили для подготовления возрождения более прочного, картину которого представит нам Запад.

Мы видим, таким образом, во второй раз, как гений оставляет народы, которые он просветил, но и на этот раз он исчезает под давлением тирании и суеверия. Рожденный в Греции в атмосфере свободы, он не мог ни остановить ее падения, ни защитить разум против предрассудков народов, уже униженных рабством. Рожденный у арабов в недрах деспотизма и вблизи колыбели фанатической религии, он явился только отражением великодушного и блестящего характера этого народа, временным исключением из общих законов природы, в силу которых народы порабощенные и суеверные обречены на унижение и невежество.

Итак, этот второй пример не должен нам внушать страха относительно будущего; он может только служить предостережением для наших современников, чтобы они не пренебрегали никакими средствами для сохранения и увеличения знаний, если они

хотят стать и оставаться свободными, и чтобы они укрепляли свободу, если они не хотят лишиться тех преимуществ, которые знания им доставили.

Я присоединю к истории трудов арабов историю быстрого возвышения и поспешного падения этой нации. Некогда господствовавшая от берегов Атлантического океана до границ Инда, изгнанная затем варварами из большей части завоеванных ею стран, удержанная остальными только для того, чтобы представить отвратительное зрелище народа, павшего до последнего предела закрепощенности, разврата и нищеты,—эта нация занимает еще теперь территорию своего старого отечества, сохранила там свои нравы, свой дух, свой характер и сумела отвоевать и защитить свою прежнюю независимость.'

Я покажу, каким образом религия Магомета, простирающаяся в своих доктринах, наименее абсурдная в своих обрядах, наиболее терпимая в своих принципах, как бы обрекла на вечное рабство, на неизлечимую тупоть все это обширное пространство, на которое она распространила свое господство; между тем как мы увидим, что гений наук и свободы сияет в атмосфере наиболее нелепых суеверий, среди наиболее варварской нетерпимости. Китай представляет нам то же явление, хотя действие этого притупляющего яда там было менее гибельным.



## СЕДЬМАЯ ЭПОХА

---

---

### ОТ ПЕРВЫХ УСПЕХОВ НАУК В ПЕРИОД ИХ ВОЗРОЖДЕНИЯ НА ЗАПАДЕ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ КНИГОПЕЧАТАНИЯ



ногие причины способствовали тому, что человеческий разум постепенно вновь приобрел ту энергию, которую цепи столь позорные и столь тяжелые, казалось, должны были сковать навсегда.

Нетерпимость духовенства, его усилия завладеть политической властью, скандальная жадность и беспутное поведение его представителей, еще более возмущавшие вследствие лицемерия последних, должны были восстановить против него всех тех,

кто обладал душой чистой, умом ясным и характером смелым. Эти люди поражались противоречием между их доктринаами, правилами, поведением и теми самыми евангелиями, главным основанием их доктрины, как и морали, содержание которых они не могли всецело скрыть от народа. Против них поднялись таким образом сильные протесты. В Южной Франции целые провинции объединились, чтобы принять новую доктрину, более простую, христианство более очищенное, где человек, подчиненный только божеству, мог бы по своему собственному разумению судить о том, что оно соизволило открыть людям в книгах, от него исходящих.

Фанатические армии под командой честолюбивых полководцев опустошили эти провинции. Палачи, приведенные папскими легатами и священниками, надругались над теми, которых пощадили солдаты. Был учрежден трибунал монахов, которому было поручено отправлять на костер всякого, кто был заподозрен в том, что слушается еще голоса своего разума.

Тем не менее, они не могли помешать духу свободы и исследования прогрессировать тайно. Подавленный в странах, где он дерзнул проявиться, где лицемерная нетерпимость неоднократно зажигала кровавые войны, он возрождался и тайно распространялся в другой стране. Мы его вновь встречаем во всех эпохах вплоть до момента, когда, благоприятствуемый изобретением книгопечатания, он стал достаточно сильным, чтобы освободить часть Европы от ига римского двора.

Уже существовал целый класс людей, которые, возвысившись над всеми суевериями, довольствова-

лись тем, что презирали их тайно или, самое большее, позволяли себе мимоходом высмеивать их, делая эти насмешки еще более пикантными благодаря той почтительности, которой они старались их прикрывать. Насмешка была пощажена ради тех вольностей, которые, осторожно посеванные в произведениях, предназначенных для наслаждения вельмож или людей образованных, но недоступных народу, не возбуждали ненависти преследователей.

Фридрих II был заподозрен в принадлежности к тем, кого наши священники XVII века называли впоследствии философами. Папа обвинял его перед всеми нациями в том, что он рассуждал о религиях Моисея, Иисуса и Магомета, как о политических баснях. Его канцлеру Петру де Винье приписана была фантастическая книга о трех обманщиках. Но уже одно заглавие свидетельствовало о существовании воззрения, представлявшего вполне естественный результат исследования этих трех верований, которые, проистекая от одного источника, были только искажением более чистого культа, посвященного более древними народами универсальной мировой душе.

Сборники наших сказок—«Декамерон» Боккачио—являются отражением этой свободы мыслить, этого презрения к предрассудкам, этой наклонности писателей сделать из них предмет злобной и тайной насмешки.

Эта эпоха, таким образом, представляет нам мирных людей, отвергающих все суеверия, рядом с энтузиастами—реформаторами их наиболее грубых заблуждений; и мы сможем почти связать историю этих глухих протестов, протестов в пользу прав ра-

зума, с историей последних философовalexандрийской школы.

Мы исследуем вопрос о том, не образовалось ли в эпоху, когда философский прогелитизм был столь опасен, тайных обществ, предназначенных увековечить, распространить тайно и без опасения среди некоторых адептов немногие простые истины, как верные предохранители против господствующих предрассудков.

Мы постараемся выяснить, не должно ли отнести к числу этих обществ тот знаменитый орден, под который папы и короли с такой низостью подкапывались и который они с таким варварством разрушили.

Священники вынуждены были заниматься науками или в целях самозащиты, или для того, чтобы прикрыть благовидными предлогами захваты светской власти и совершенствоваться в искусстве изготовления вымышленных документов. С другой стороны, чтобы поддерживать с меньшими потерями эту войну, где претензии опирались на авторитет или примеры, короли поощряли образование школ для подготовки юристов, в которых они нуждались для борьбы с представителями церкви.

В этих спорах между духовенством и правительствами, между духовенством каждой страны и главою церкви люди, более проникнутые духом справедливости, обладавшие характером более открытым и более возвышенным, отставали интересы светские против домогательств священников и интересы национального духовенства против деспотизма иноzemного властелина. Они нападали на злоупотребления, на алчные захваты, происхождение которых они старались раскрывать. Эта смелость кажется нам

только рабской робостью, мы смеемся, видя, какую массу трудов они потратили для доказательства того, чему простой здравый смысл должен был научить. Но эти истины, тогда новые, решали часто участь целого народа; эти люди смело искали их и храбро защищали; и именно благодаря им человеческий разум начал вспоминать свои права и свою свободу.

В спорах, возникавших между королями и сеньорами, первые обеспечивали себе поддержку больших городов или привилегиями, или восстановлением некоторых естественных прав человека; они старались освободительными грамотами увеличивать число городов, пользующихся коммунальным правом. Жители этих городов, возрожденные к свободе, чувствовали, насколько для них важно приобрести путем изучения законов и истории правоспособность и умственный авторитет, которые помогали им уравновесить военное могущество феодальной тирании.

Соперничество между императорами и папами помимо Италии объединилось под властью одного государя, и там сохранилось большое количество независимых обществ. В маленьких государствах нужно было помимо физической силы опираться также на силу убеждения, действовать словом столь же часто, как и оружием. Так как эта политическая война приобрела там характер борьбы мнений, так как Италия никогда совершенно не теряла склонности к научным занятиям, она должна была стать для Европы очагом просвещения, вначале слабым, но обещавшим быстро увеличиваться.

Наконец, религиозный энтузиазм увлекал западные народы на завоевание святых мест, как они говор-

рили, за смерть и чудеса Христа. В то время как эта сильная страсть была благоприятна для свободы благодаря ослаблению и обеднению сеньоров, она способствовала также тому, что европейские народы вступили в сношения с арабами и установили с ними прочные связи. Эти связи уже были образованы вследствие смешения арабов с христианами Испании и были укреплены благодаря торговле Пизы, Генуи, Венеции. Европейцы изучили арабский язык, читали их произведения, позаимствовали у них часть их открытий и, если они не двинули науки дальше того предела, до которого дошли арабы, они, по крайней мере, стремились с ними сравниться.

Крестовые походы, предпринятые во имя суеверия, послужили для его разрушения. Знакомство со многими религиями в конце концов внушило здраво-мыслящим людям полный индифферентизм ко всем этим верованиям, одинаково бессильным против пороков и страстей людских, равное презрение к привязанности, как искренней, так и упрямой, их последователей к противоречивым мнениям.

В Италии образовались республики, из которых некоторые подражали формам греческих республик, между тем как другие пытались согласовать с закрепощенностью подвластного народа свободу и демократическое равенство суверенного народа. На севере Германии некоторые города, получив почти полную независимость, управлялись своими собственными законами. В некоторых частях Швейцарии народ разорвал цепи феодализма, как и оковы королевской власти. Почти во всех больших государствах создаются несовершенные конституции, где право повышения налогов, издания новых законов

было разделено то между королем, дворянством, духовенством и народом, то между королем, баронами и коммунами, где народ, находясь еще в состоянии унижения, был, по крайней мере, защищен от угнетения, где те элементы населения, которые действительно образуют нации, были призваны к праву защищать свои интересы и быть услышанными теми, которые распоряжаются их судьбами. В Англии знаменитый акт, торжественно утвержденный королем и вельможами, гарантировал права баронов и некоторые из прав простых людей.

Другие народы, провинции, даже города также получили подобные хартии, хотя менее знаменитые и менее защищенные. Они представляют зародыши деклараций прав, рассматриваемых теперь всеми просвещенными людьми как основы свободы. Идею этих деклараций древние не постигали и не могли постигнуть, потому что домашнее рабство осквернило их конституцию, потому что у них право гражданина было наследственным или приобретено добровольным усыновлением и потому, что они не возвысились до понимания этих прав, присущих человеческому роду и принадлежащих всем людям с полным равенством.

Во Франции, в Англии и у некоторых других великих наций народ, казалось, хотел восстановить свои истинные права, но, скорее ослепленный чувством угнетенности, чем просветленный разумом, он имел единственными плодами своих усилий жестокости, скоро искупленные более варварской, и в особенности более несправедливой, местью, и грабежи, сопровождавшиеся еще более страшной нищетой.

Между тем, принципы реформатора Виклефа были

у англичан мотивами одного из тех движений, руководимых его учениками, которое явилось предзнакомованием более последовательных и лучше задуманных выступлений, предпринятых народами впоследствии при других реформаторах и в более просвещенном веке.

Открытие рукописи кодекса Юстиниана возродило изучение юриспруденции, как и законодательства и содействовало гуманизации законов даже тех народов, которые умели их использовать, не желая им подчиняться.

Торговля Пизы, Генуи, Флоренции, Венеции, бельгийских городов и некоторых свободных городов Германии охватывала Средиземное и Балтийское моря и берега Атлантического океана. Их купцы отправлялись добывать драгоценные продукты Леванта в порты Египта и к дальним берегам Черного моря.

Политика, законодательство, общественное хозяйство не образовали еще самостоятельных наук: никто не занимался исследованием, углублением и развитием их принципов; но когда стали знакомиться с ними на практике, были собраны наблюдения, которые способствовали их зарождению; выгоды, обусловленные познаниями в области этих наук, должны были подсказать необходимость их изучения.

Аристотель стал известен в средние века только благодаря переводу, сделанному с арабского, и его философия, преследуемая в первые моменты ее появления, скоро заняла господствующее положение во всех школах; она не внесла туда новых знаний, но она придала больше правильности, больше систематич-

ности искусству аргументации, которое породили теологические споры. Эта схоластика не вела к открытию истины, она даже не способствовала лучшему обсуждению, лучшей оценке доказательств, но она заостряла умы; и склонность к хитроумным толкованиям, необходимость беспрестанно расчленять идеи, схватывать их случайные оттенки, представлять их новыми словами—весь этот аппарат, употреблявшийся для того, чтобы запутать противника в споре или чтобы избежать расставленной последним ловушки, был зародышем того философского анализа, который впоследствии явился обильным источником нашего прогресса.

Схоластикам мы обязаны более точными понятиями о всевышнем существе и об его атрибуатах; о различии между первопричиной и вселенной, которой она как будто управляет; о различии между духом и материей; о различном смысле, который можно связывать со словом *свобода*; о том, что разумеют под словом *творение*; о способе отличать между этими значениями различные операции человеческого ума и классифицировать идеи, образуемые о реальных предметах и об их существенных свойствах.

Но этот самый метод мог только тормозить в школах прогресс естественных наук. Некоторые анатомические исследования, туманные труды по химии, посвященные исключительно отысканию философского камня, занятия геометрией и алгеброй, которые не привели ни к усвоению всего того, что открыли арабы, ни к пониманию произведений древних, наконец, наблюдения и астрономические вычисления, которые ограничивались устройством и усовершенствованием таблиц и которые искались примесью

нелепой астрологии,—такова картина, которую представляют эти науки. Между тем, механическое производство начало приближаться к тому совершенству, которого оно достигло в Азии. Культура шелка стала внедряться на юге Европы; устраиваются ветряные мельницы и бумажные фабрики; искусство измерять время переходит границы, где оно остановилось у древних и у арабов. Наконец, два важных открытия отмечают эту самую эпоху. Свойство магнитной стрелки устанавливаться всегда против одной и той же страны света, свойство, известное китайцам, которым они пользовались в мореплавании, было также замечено европейцами. Они научились пользоваться компасом, употребление которого способствовало усилению торговли, усовершенствовало искусство мореплавания, зародило идею тех путешествий, благодаря которым впоследствии был открыт новый мир, и дало возможность человеку обнять взором весь земной шар. Химик, смешивая серу с воспламеняющимся веществом, нашел секрет пороха, который произвел неожиданный переворот в военном искусстве. Несмотря на ужасные действия огнестрельного оружия, оно, позволяя сражающимся находиться на значительном друг от друга расстоянии, сделало войну менее смертоносной и воинов менее жестокими. Военные экспедиции становятся более разорительными; богатство может уравновесить силу; народы, даже наиболее воинственные, чувствуют потребность подготовиться, обеспечить себе средства ведения войны, обогащаясь торговлей и промышленностью. Просвещенным народам не приходится больше бояться слепой храбрости варварских наций. Великие

завоевания и сопровождающие их великие перевороты становятся почти невозможными.

То превосходство, которое дворянство приобрело над народом благодаря железным доспехам, своему умению править почти неукротимыми лошадьми, владеть шпагой, палицей или копьем, в конце концов совершило исчезло. Разрушение этого последнего препятствия свободе и действительному равенству людей обусловлено было изобретением, которое с первого взгляда, казалось, угрожало уничтожить человеческий род.

В Италии язык почти достиг своего совершенства в XIV веке. Данте зачастую благороден, точен и энергичен. Боккачио отличается грацией, простотой и изяществом. Остроумный и чувствительный Петрарка нисколько не устарел. В этой стране, счастливый климат которой приближается к климату Греции, изучались образцовые произведения древности; делались попытки внести в новый язык некоторые красоты последних; старались им подражать. Уже некоторые опыты давали право предполагать, что пробужденный видом древних памятников, обученный этими молчаливыми, но красноречивыми уроками, гений искусства второй раз явился украшать существование человека и подготовить ему те чистые удовольствия, наслаждение которыми равно для всех и увеличивается по мере его распространения.

Остальная Европа отставала от Италии; но склонность к литературе и поэзии начала там, по крайней мере, шлифовать варварские еще языки.

Те же причины, которые разбудили человеческую мысль, спавшую долгим летаргическим сном, должны были также направлять ее усилия. Разум не мог

быть призван решать вопросы, возникавшие при столкновении противоположных интересов: религия, далекая от признания за ним авторитета, стремилась его подчинить и высокомерно собиралась его уничтожить; политика считала справедливым то, что было освящено соглашениями, постоянной практикой и старыми обычаями.

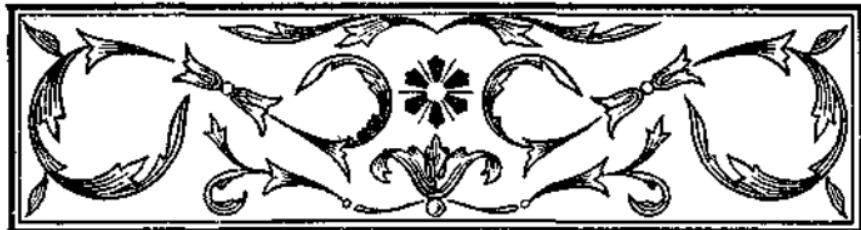
Руководители общества не догадывались, что права людей начертаны самой природой и сочинять другие значило бы игнорировать и оскорблять их. Правила или примеры, достойные подражания, они искали в священных книгах, у почитаемых авторов, в папских буллах, королевских рескриптах, сборниках обычаев и церковных ежегодниках. Речь шла не об исследовании сущности какого-либо принципа, но о толковании, обсуждении, отрицании или подтверждении другими текстами тех, на которые он опирался. Положение принималось не потому, что оно было истинно, но потому, что оно было написано в такой-то книге и было принято в такой-то стране и с такого-то века.

Таким образом, авторитет людей заменил всюду авторитет разума. Книги изучались гораздо более природы и воззрения древних лучше, чем явления вселенной. Эта порабощенность разума, который не мог еще явиться даже источником просвещдающей критики, искала метод изучения, вредила этим прогрессу человеческого рода более, чем своим непосредственным влиянием на науки. Древние еще были так недоступны пониманию, что не настало еще время их исправлять или превосходить.

В продолжение этой эпохи нравы сохраняли свою развращенность и свою жестокость; религиозная не-

терпимость стала даже более активной; и гражданские междуусобицы, вечные войны массы мелких князей заменили нашествия варваров и более гибельный бич частых войн. Правда, учтивость мечестрелей и трубадуров, институт рыцарства, основными принципами которого были великодушие и искренность и который посвящал себя поддержанию религии и защите угнетенных, как и служению дамам, казалось, должны были сообщить нравам большие мягкости, благородства и возвышенности. Но это изменение, замечаемое в дворцах и замках, никак не коснулось народной массы. Оно обусловило установление немного большего равенства между дворянством и уменьшение вероломства и жестокости в их взаимных отношениях; но их презрение к народу, свирепость их тиrании, дерзость их грабежа остались те же; и нации, попрежнему угнетенные, были по-прежнему невежественными, варварскими и развращенными.

Политическая и военная вежливость, рыцарство, обязанные своим происхождением большей частью арабам, естественное великодушие которых долгое время оборонялось в Испании против суеверия и деспотизма, были, конечно, полезны; они распространяли зародыши гуманизма, которые должны были дать плоды в более счастливые времена; и общий характер этой эпохи выразился в подготовлении человеческого разума к перевороту, к которому открытие книгопечатания должно было привести, и к подготовлению почвы, которую следующие поколения должны были покрыть столь богатой и столь обильной растительностью.



## ВОСЬМАЯ ЭПОХА

---

ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ КНИГОПЕЧАТАНИЯ  
ДО ПЕРИОДА, КОГДА НАУКИ И ФИЛОСОФИЯ  
СБРОСИЛИ ИГО АВТОРИТЕТА



е, кто не задумывался над ходом человеческого разума в области открытий, будь то новых истин или процессов производства, должен удивляться тому, что такой длинный промежуток времени отделяет умение печатать рисунки от изобретения искусства печатать буквы.

Без сомнения, у некоторых граверов возникала идея об этом применении своего искусства, но они были более поражены трудностью исполнения, не-

жели выгодами, которые сулил успех. Впрочем, то, что они не могли подозревать всеобъемлющего значения этой идеи, было даже весьма полезно для прогресса разума. Иначе, духовенство и короли объединились бы, чтобы задушить в зародыше врага, которому предстояло сорвать маску с одних и развенчать других.

Книгопечатание умножает в неопределенном количестве и при небольших расходах экземпляры одного и того же произведения. В силу этого возможность иметь книги, приобретать их сообразно своему вкусу и своим потребностям стала доступной для всех умеющих читать, и эта легкость чтения увеличила и распространила желание и средства образования.

Эти многочисленные копии, распространяясь с большей быстротой, способствовали тому, что факты и открытия не только приобрели более широкую известность, но эту известность они приобретали с гораздо большей быстротой. Просвещение стало предметом деятельной и повсеместной торговли.

Отыскивать рукописи стало такой же необходимости, как для нас теперьискание редких произведений. То, что ранее читалось только немногими, могло, таким образом, быть прочитано целым народом и повлиять почти одновременно на всех людей, владеющих одним и тем же языком.

Стал известен способ говорить с рассеянными нациями. Мы присутствуем при сооружении трибуны нового вида, откуда обобщаемые идеи производят менее живое, но более глубокое впечатление, власть которой менее тираническая над страстями, но более могущественная, более верная и более про-

должительная над разумом; при этом все преимущества на стороне истины, ибо искусство находить истину оставило приемы, искажавшие ее, приобретая средства для ее освещения. Образуется общественное мнение, могущественное для тех, кто его разделяет, энергичное, ибо мотивы, его определяющие, действуют одновременно на все умы даже на чрезвычайно отдаленном расстоянии. Таким образом, мы видим, как из уважения к разуму и справедливости создается трибунал, независимый от всякой человеческой силы, трибунал, от которого трудно что-либо скрыть и которого невозможно избежать.

Новые методы, история первых шагов по пути, ведущему к открытию, труды, подготовляющие это открытие, взгляды, которые могут способствовать возникновению идей или только возбудить желание работать в этом направлении,—все это, быстро распространяясь, доставляло каждому человеку всю совокупность средств, которые усилия всех могли создать; и благодаря этой взаимопомощи человеческий гений во много раз увеличил свои силы.

Всякое новое заблуждение разрушается в зародыше, подвергаясь часто нападениям даже раньше, чем оно могло распространиться, поэтому оно не успевает укорениться в умах. Заблуждения, усвоенные с младенчества, которые являются в некотором роде нераздельными с умом каждого человека и которые страх или надежда сделали дорогими для слабых характеров, были поколеблены в силу того только, что стало невозможно препятствовать их обсуждению, скрывать, что они могли быть отброшены и опровергнуты, восстать против прогресса истины, которые,

последовательно разрушая их, должны были со временем обнаружить их нелепость.

Книгопечатанию же мы обязаны возможностью распространять произведения, появление которых обусловлено обстоятельствами данного момента или временными течениями общественной мысли, и благодаря этому представляется возможным заинтересовывать каждым вопросом, обсуждающимся в одном месте, всех людей, говорящих на одном и том же языке.

А книги, предназначенные для каждого класса людей, для каждой степени образования, мыслимо ли было размножать без помощи этого искусства? Продолжительные обсуждения, которые одни только могут внести верный свет в сомнительные вопросы и укрепить на непоколебимом основании истины слишком абстрактные, слишком тонкие, слишком непохожие на народные предрасудки или на ходячее мнение ученых, чтобы не быть скоро забытыми и игнорируемыми; книги, чисто элементарные, словари, произведения, в которых собрано со всеми подробностями множество фактов, наблюдений, опытов, где все доказательства развиты, все сомнения выяснены; эти драгоценные коллекции, заключающие то все, что было замечено, написано, придумано о данной отрасли наук, то результаты годичных трудов всех ученых какой-либо страны; таблицы, картины всякого вида, из которых одни представляют результаты, открывающиеся уму лишь путем тяжелого труда, другие показывают по желанию факт, наблюдение, количество, формулу, предмет, которые необходимо знать, между тем как трети, наконец, представляют в удобной форме, в систематическом по-

рядке материалы, из которых гений должен извлекать новые истины,—все эти средства, направленные к тому, чтобы движение человеческого разума стало более скрытым, более верным, более легким, являются также благоденствием книгопечатания.

Мы обнаружим еще другие благодеяния, когда проанализируем последствия введения в науку национальных языков вместо одного научного языка, почти исключительно употреблявшегося учеными всех стран.

Наконец, разве не книгопечатание освободило народное образование от всех цепей, политических и религиозных? Напрасно тот или другой деспотизм стал бы вторгаться во все школы; тщетно стал бы он под страхом смертных кар устанавливать, какими заблуждениями он предписывает неизменно заражать умы и от каких истин он велит их предохранять; тщетно кафедры, посвященные моральному воспитанию народа или обучению молодежи философии или наукам, обрекались бы излагать всегда только учение, благоприятное для этой двойной тирании: книгопечатание все же может распространить знание независимое и чистое. Образование, которое каждый человек может почерпнуть из книг в тиши и уединении, не может быть повсеместно искажено,—достаточно, чтобы существовал уголок свободной земли, где печатный станок мог бы беспрепятственно работать. Каким образом при наличии множества различных книг, многочисленных экземпляров одной и той же книги и оттисков, которые в несколько мгновений вновь умножают число ее экземпляров, можно будет достаточно плотно прикрыть все двери, через которые истина стремится проникнуть? Если

раньше было трудно полностью изгнать истину, когда для этого было достаточно уничтожить несколько экземпляров какой-нибудь рукописи, и преследовать эту истину в течение нескольких лет, разве это не стало невозможным теперь, когда для этого со стороны реакции нужны были бы неусыпная бдительность и беспрерывная, никогда не прекращающаяся деятельность? Каким образом, если бы даже удалось изгнать истины слишком очевидные, непосредственно задевающие интересы инквизиторов, можно было бы воспрепятствовать проникновению и распространению книг, которые заключают в себе гонимые истины, которые их подготавлиют и должны когда-либо к ним привести, не возбуждая слишком большого внимания к ним? Можно ли это сделать, не будучи вынужденным сбросить маску лицемерия, падение которой было бы для господства заблуждения почти так же гибельно, как и истина? И потому мы увидим разум торжествующим над этими тщетными усилиями; мы его увидим в войне, всегда возрождающейся и часто жестокой, торжествующим над насилием, как и над коварством, презирающим костры и не поддающимся соблазнам, сокрушающим своей всемогущественной рукой поочередно и фанатическое лицемерие, которое требует искреннего обожания своих догматов, и политическое лицемерие, которое заклинает смириенно терпеть, когда оно извлекает выгоду в мире из поддерживающих его заблуждений, и считать его продолжительное существование столь же полезным для народов, как для него самого.

Изобретение книгопечатания почти совпадает с двумя другими событиями, из которых одно оказало

<sup>37</sup>  
непосредственное влияние на прогресс человеческого разума, между тем как влияние другого на судьбы всего человечества должно продолжаться беспрепятственно, пока люди будут существовать на земле.

Я говорю о взятии Константиноополя турками и об открытии нового мира или нового пути, благодаря которому Европа получила прямое сообщение с восточными частями Африки и Азии.

Греческие литераторы, избежав татарского владычества, искали убежища в Италии. Они обучали чтению в оригинале поэтов, ораторов, историков, философов и ученых древней Греции, они способствовали увеличению количества сперва рукописей, а вскоре затем и изданий. То, что принято называть доктриной Аристотеля, не является уже болыше предметом общего поклонения; начинают искать в его собственных сочинениях то, что она собой действительно представляла, дерзают ее обсуждать и опровергать; ему противопоставляют Платона. И эта смелость в обращении с Аристотелем свидетельствовала о том, что люди начали уже сбрасывать с себя што авторитета, начали считать себя вправе избрать себе учителя.

Чтение Эвклида, Архимеда, Диофанта, Гиппократа, книг о животных и даже физики Аристотеля возродило геометрию и физику; и противохристианские воззрения философов разбудили почти заглохшие идеи о древних правах человеческого разума.

Люди отважные, увлекаемые любовью к славе и страстью к открытиям, расширили для Европы границы вселенной, показали ей новое небо и открыли неизвестные страны. Гама проник в Индию, после того как он с неистощимым терпением обошел

огромное пространство африканского побережья; между тем, Колумб, полагаясь на волны Атлантического океана, достиг мира, дотоле неизвестного, растянувшегося между Западной Европой и Восточной Азией.

Если эта беспокойная деятельность, проявлявшаяся с тех пор во всех областях, доступных человеку, предвещала великий прогресс человеческого рода, если благородное любопытство воодушевляло героев мореплавания, то, с другой стороны, низкая и жестокая жадность, тупой и дикий фанатизм руководили королями и разбойниками, которым предстояло воспользоваться их трудами. Несчастные существа, обитавшие в этих новых странах, отнюдь не признавались людьми, ибо они не были христианами. Этот предрассудок, более унизительный для тиранов, чем для их жертв, заглушал всякий намек на угрызения совести, оставил без узды неутолимую жажду золота и крови тех жадных и жестоких людей, которых Европа извергала из своих недр. Кости пяти миллионов людей покрыли эти несчастные земли, куда португальцы и испанцы вносили свою жадность, свои суеверия и свою ярость. Они до скончания веков будут служить свидетельством против учения о политической полезности религий, которое находит еще себе защитников среди нас.

Только в эту эпоху человек получил возможность узнать весь земной шар, изучить во всех странах человеческий род, видоизмененный в силу долгого влияния естественных причин или социальных учреждений, наблюдать произведения земли или морей во всех температурах, во всех климатах. Таким образом, ресурсы всякого рода, каковыми эти продукты явля-

лись для людей, еще столь далеких от того, чтобы их исчерпать или даже подозревать все их обшире, все то, что знакомство с этими предметами может добавить к наукам, обогащая их новыми истинами и разрушая распространенные заблуждения; деятельность торговли, которая сообщила новый подъем промышленности, мореплаванию и, в силу неизбежной связи, всем наукам, как и всем искусствам; сила, которую приобрели благодаря этой деятельности свободные народы для борьбы с тиранами и порабощенные народы, чтобы разорвать свои цепи или чтобы по крайней мере ослабить оковы феодализма,—таковы были счастливые последствия этих открытий. Но эти выгоды искупают то, что они стоили человечеству, лишь в тот момент, когда Европа, отказавшись от притеснительной и скряжнической системы монопольной торговли, вспомнит, что люди всех климатов, равные и братья по воле самой природы, созданы отнюдь не для насыщения высокомерия и жадности некоторых привилегированных наций; когда, поняв лучшие свои собственные интересы, она призовет все народы разделить ее независимость, свободу и просвещение. К сожалению, мы не можем еще определенно сказать, будет ли этот переворот достойным результатом прогресса философии или только, как мы уже видели, позорным следствием национальной зависти и злоупотреблений тирании.

До этой эпохи посягательства духовенства оставались безнаказанными. Протесты угнетенного человечества и оскорблённого разума были подавлены в крови и пламени. Дух, продиктовавший эти протесты, не был заглушен; но это безмолвие от страха поощряло духовенство на новые скандальные по-

ступки. Наконец, предоставление монахам права продавать в кабаках и публичных местах отпущение грехов явилось причиной нового взрыва протестов. Лютер, опираясь на священное писание, указал на то, что папа присвоил себе право разрешать преступления и продавать прощение; что он проявляет наглый деспотизм по отношению к епископам, давно равным ему; что братская вечеря первых христиан стала под именем мессы своего рода магической операцией и предметом торговли; что священники обречены на разврат благодаря неотмываемому безбрачию; что этот варварский или постыдный закон распространяется на монахов и на монахинь, которыми папское тщеславие наводнило и осквернило церковь; что все тайны мирской жизни становятся благодаря исповеди предметом интриг и страстей священников; что, наконец, на долю самого бога едва приходится ничтожная часть в поклонениях, расточаемых хлебу, людям, костям или статуям.

Лютер возвестил изумленным народам, что эти возмутительные учреждения ничего общего с христианством не имеют, но являются искажением и посрамлением его, и что, для того чтобы быть верным религии Иисуса Христа, нужно начать с отречения от религии духовенства. В своей борьбе с церковью он пользовался равным образом силой диалектики или эрудиции и не менее могущественным оружием сатиры. Он писал одновременно на немецком и латинском языках. Условия борьбы были не таковы, как во времена альбигойцев или Яна Гуса, учение которых, неизвестное за пределами их церквей, было так легко оклеветать. Немецкие книги новых апостолов проникали одновременно во все уголки империи, между

тем как их латинские книги пробуждали всю Европу от позорного сна, в который суеверие ее повергло. Те, разум которых предосудил идеи реформаторов, но которых страх удерживал в молчании; те, которых волновало тайное сомнение и которые боялись признаться в этом даже своей собственной совести; те, более простые, которые игнорировали всю совокупность богословских нелепостей и никогда не размышляли о спорных вопросах,—все были изумлены, узнав, что им предоставленный выбор между различными взглядами, все набросились с жадностью на споры, от которых, как они видели, зависят и их временные интересы и их будущее счастье.

Вся христианская Европа—от Швеции до Италии, от Венгрии до Испании—мгновенно заполнилась сторонниками новых учений. И реформация освободила бы от римского ига все европейские народы, если бы ложная политика некоторых государей не подняла тогда того самого священнического скелетра, который так часто обрушивался на головы королей.

Политика, от которой их преемники, к сожалению, еще не отреклись, выражалась тогда в разрушении собственных государств ради приобретения новых и в тенденции измерять свое могущество обширностью территории скорее, чем количеством подданных.

И потому Карл V и Франциск I, оспаривая друг у друга права на Италию, пожертвовали в целях свержения папы выгодами, которые реформация доставляла странам, сумевшим ее принять.

Император, видя, что князья империи содействуют распространению взглядов, которые должны были увеличить их власть и их богатства, стал покровителем

старых злоупотреблений, надеясь, что религиозная война представит ему случай завладеть их государствами и уничтожить их независимость. Франциск воображал, что, сжигая протестантов во Франции и покровительствуя их главарям в Германии, он сохранит дружбу папы, не теряя полезных связей.

Но это было не единственным мотивом королей; деспотизм также имеет свой инстинкт, и этот инстинкт подсказал им, что, после того как религиозные предрассудки будут подвергнуты исследованию разума, люди скоро обратятся к предрассудкам политическим; что, просветленные относительно узурпаций пап, они, в конце концов, пожелают просветиться и относительно узурпаций королей; и что реформа в области религиозных злоупотреблений, столь полезная для королевского могущества, повлечет за собой реформу в области еще более возмутительных злоупотреблений, на которых это могущество основано. Поэтому ни один король великой нации не принимал добровольно сторону партии реформаторов. Генрих VIII, пораженный папской анафемой, также их преследовал; Эдуард и Елизавета, дабы своим присоединением к папизму не объявить себя узурпаторами, установили в Англии верование и культ, которые наиболее к нему приближались. Протестантские монархи Великобритании неизменно покровительствовали католицизму, всякий раз когда он представлял им угрожать претендентом на их корону.

В Швеции, в Дании короли смотрели на утверждение лютеранства только как на необходимую предосторожность для обеспечения изгнания католического тирана, которого они заместили; и мы видим уже в прусской монархии, основанной государем-филосо-

фом, что его преемник таит скрытую склонность к этой религии, столь дорогой королям.

Религиозная нетерпимость была обычна во всех сектах, которые ее сообщали всем правительствам. Паписты преследовали все кальвинистские общины; последние, предавая анафеме друг друга, объединялись против непризнающих троицы, которые, будучи более последовательными, подвергали одинаково все догматы исследованнию если не разума, то, по крайней мере, систематической критики и не считали себя обязанными избавляться от некоторых нелепостей ради сохранения других, столь же возмутительных.

Эта нетерпимость сыграла в руку папизму. Издавна в Европе, и в особенности в Италии, существовал класс людей, который, отбросив все суеверия, относясь безразлично ко всем культурам, подчиняясь только разуму, рассматривал религии как человеческие изобретения, над которыми можно втайне смеяться, но которым благородие и политика велият оказывать почтение.

Впоследствии их смелость пошла гораздо дальше; и в то время как в школах пользовались только плохо понимаемой философией Аристотеля для усовершенствования искусства теологических хитростей, имевших целью представить замысловатым то, что в действительности было только нелепо, некоторые ученые стремились построить на его истинной доктрине систему, разрушающую всякую религиозную идею, систему, в которой человеческая душа рассматривалась как способность, исчезающая одновременно с прекращением жизни, которая провидением и распорядителем мира признавала только неизменные за-

коны природы. Они были разбиты платониками, воззрения которых, приближаясь к тому, что впоследствии называли деизмом, были еще более страшными для ортодоксального духовенства.

Страх наказаний скоро остановил эту неблагоразумную откровенность. Италия, Франция были осквернены кровью этих мучеников свободомыслия. Все секты, все правительства, все авторитетные люди показывали себя солидарными только в том, что противоречило разуму. Нужно было прикрыть его вулью, которая, скрывая его от глаз тиранов, была бы проницаема для взоров философии.

Таким образом, явилась необходимость окружить себя боязливой осторожностью того тайного учения, которое всегда имело большое количество последователей. Оно распространялось преимущественно между высшими представителями правительства, как и между сановниками церкви; и со временем реформации принципы религиозного макиавеллизма стали единственными основами веры государей, министров и пап. Эти воззрения заразили даже философию. Какую, в самом деле, мораль ожидать от системы, один из принципов которой гласит, что нужно народную мораль строить на ложных взглядах; что просвещенные люди вправе обманывать народ, лишь бы только они сообщали ему полезные заблуждения, и удерживать его в цепях, от которых они сами сумели освободиться.

Если естественное равенство людей является главным базисом их прав и основанием всякой истинной морали, то что могла ей обещать философия, одно из правил которой было — открытое презрение к этому равенству и к этим правам? Эта самая философия,

конечно, могла служить прогрессу разума, царство которого она подготовляла в тиши; но ее непосредственное влияние выразилось только в том, что она заменила фантазии лицемерием и развращала вершителей судеб государств, даже когда она их поднимала выше предрассудков.

Истинно просвещенные философы, чуждые честолюбия, которые ограничивались тем, что раскрывали перед людьми заблуждения только с крайней осторожностью, не позволяя себе однако поддерживать их в их ошибках,—эти философы, естественно, должны были быть расположены принять реформацию; но, отталкиваемые нетерпимостью, которую всюду одинаково паходили, они в большей своей части не считали себя обязанными работать в пользу реформы, по проведении которой они оказались бы подчиненными тем же стеснениям. Так как они были всегда вынуждены делать вид, что верят нелепостям, которые они отвергали, они не видели большой выгоды в некотором уменьшении количества последних; они опасались, что своим отречением они дадут повод видеть в них добровольных лицемеров, и, оставаясь в числе приверженцев старой религии, укрепляли ее авторитетом своего имени.

Дух, оживлявший реформаторов, не привел к истинной свободе совести. Каждая религия в стране, где она господствовала, допускала только известные воззрения. Между тем, так как эти различные верования были между собой в антагонизме, то было мало воззрений, которые не были бы преследуемы или поддерживаемы лишь в некоторых частях Европы. Сверх того, новые общины вынуждены были несколько ослабить догматическую строгость. Они

не могли без грубого противоречия ограничить право исследования слишком тесными пределами, ибо они сами на этом же праве только что обосновали законность своего отпадения. Если они отказывали разуму в полной свободе, они соглашались, чтобы его тюрьма была менее тесной; цепь не была разбита, но она стала менее тяжелой и более удлиненной. Наконец, в тех странах, где одна религия не имела возможности подавить все другие, устанавливалось то, что наглость господствующего культа смела называть терпимостью, т. е. позволение, данное людьми другим людям, верить в то, что признает их разум, делать то, что повелевает им их совесть, выражать своему общему богу то благоговение, какое, по их мнению, ему более понравится. Таким образом, оказалось тогда возможным поддерживать все терпимые учения с более или менее полной откровенностью.

Таким образом, мы видим, что в Европе зарождается подобие свободы мыслить не для всех людей, но лишь для христиан; и, исключая Франции, она и теперь всюду существует только для христиан.

Но эта нетерпимость заставила человеческий разум искать прав, которые уже очень давно были забыты или, скорее, никогда не были ни хорошо поняты, ни достаточно разъяснены.

Некоторые смелые люди, возмущенные тем, что народы преследуются до святая святых своей совести королями, рабами суеверий или вдохновляемыми политикой духовенства, решились, наконец, подвергнуть исследованию основы их могущества и открыли народам ту великую истину, что их свобода есть благо неотчуждаемое; что нет ни такого благоприятного тирании предписания, ни соглашения,

в силу которых нация должна была бы быть неизменно связана с какой-либо династией; что должностные лица, каковы бы ни были их титулы, их функции, их сила, являются слугами народа, но отнюдь не его господами; что он сохраняет власть лишать их авторитета, исходящего только от него, будь то, когда они злоупотребляют своими полномочиями или даже тогда, когда он не считает более полезным для своих интересов сохранить за ними этот авторитет; что, наконец, он вправе их наказывать, так же как и увольнять со службы.

Таковы воззрения, которые Альтузиус, Ланге и затем Недам, Гаррингтон смело исповедовали и энергично развивали.

Платя дань своему веку, они слишком часто ссылаются на тексты, авторитеты и примеры: видно, что они обязаны этими воззрениями в гораздо большей степени возвышенности своего ума, силе своего характера, чем точному анализу истинных принципов социального порядка.

Между тем, другие философы, более осторожные, удовлетворялись установлением между народами и королями точной взаимности прав и обязанностей, равного обязательства не нарушать соглашений, которые они заключали. Можно отрешиться от должности или наказать наследственного представителя власти только в том случае, если он нарушил этот священный договор, который не менее обязателен для его семьи. Это учение, отвергавшее естественное право, чтобы все свести к положительному праву, встретило поддержку в лице юристов и теологов; оно было более благоприятно интересам сильных мира, для честолюбивых замыслов, ибо оно гораздо

больше поражало человека, облеченного властью, чем самое власть. И потому оно было почти повсеместно принято публицистами и признано базой в революциях и политических раздорах.

История этой эпохи покажет нам слабые реальные успехи свободы, но больше порядка и силы у правительства и сознание более сильное и в особенности более справедливое о своих правах у наций. Законы лучше составлены; они оказываются не столь часто бесформенными порождениями обстоятельств и каприза; они составлены учеными, если еще не философами.

Народные движения, революции, которые потрясли итальянские республики, Англию и Францию, должны были привлечь внимание философов к политике, состоящей в наблюдении и предвидении влияний, которые конституции, законы, общественные учреждения могут оказать на свободу народов, на благосостояние и силу государств, на сохранение их независимости и форму их правлений. Одни, как Мор и Гоббс, подражая Платону, строили на некоторых общих принципах проект целой социальной системы и представили образец, к которому практика должна была беспрерывно приближаться. Другие, как Макиавелли, стремились путем глубокого исследования исторических фактов находить правила, руководствуясь которыми можно было бы надеяться на господствующую роль в будущем.

Экономическая наука еще не существовала; государи считали не людей, но количество солдат; финансовая наука представляла собой только искусство грабить народы, не вызывая их возмущения; а правительства интересовались торговлей только для того,

чтобы ее облагать пошлинами, стеснять ее привилегиями или оспаривать монополию.

Европейские нации, имея общие интересы, объединявшие их и, как они считали, также противоположные интересы, почувствовали потребность установить между собой некоторые правила, которыми, даже независимо от договоров, они руководились бы в своих сношениях. Правила, уважаемые даже в военное время, смягчали бы ярость сражающихся, уменьшали бы опустошения и предупреждали бы по крайней мере бесполезные бедствия.

Таким образом, наука о правах людей существовала; но, к сожалению, отправным пунктом для этих международных законов служили не разум и природа—единственные авторитеты, которые могли бы признать независимые народы,—но создававшаяся практика или воззрения древних. Составители этих законов не столько заботились о правах человечества, о справедливости по отношению к личности, сколько об удовлетворении честолюбия, высокомерия или жадности правительства.

В эту эпоху мы не видим, чтобы моралисты изучали сердце человека, анализировали его способности и его переживания, чтобы таким путем вскрыть его сущность, определить происхождение, правило и санкцию его обязанностей. Но мы видим, что они умеют использовать свою схоластическую хитрость, чтобы установить для поступков, законность которых казалась сомнительной, точные границы, где кончается невинность и начинается грех; определить, какой авторитет является достаточно веским для оправдания на практике одного из этих сомнительных поступков; классифицировать систематически грехи то

по родам и видам, то сообразно им присущей тяжести; тщательно отличать в особенности те, одного из которых достаточно, чтобы заслужить вечное осуждение.

Наука о нравственности, конечно, не могла еще существовать, ибо священники пользовались исключительной привилегией быть ее толкователями и судьями. Но эти самые хитрости, одинаково бессмысленные и постыдные, побуждали искать, помогали узнавать степень нравственного достоинства поступков, их мотивов, порядок и пределы обязанностей, принципы, которыми нужно руководствоваться при выборе, когда последние кажутся противоречивыми. Так, искусный механик, изучая примитивную машину, которая случайно очутилась в его руках, часто додумывается до устройства новой, более совершенной и истинно полезной.

Реформация, уничтожив исповедь, индульгенции, институт монахов и безбрачие священников, очистила принципы морали и даже уменьшила развращенность нравов в странах, где она утвердилась; она освободила их от священнических искуплений, этого опасного поощрения преступлений, и от религиозного безбрачия, разрушителя всех добродетелей, ибо оно явилось врагом семейных добродетелей.

Эта эпоха была, более, чем какая-либо другая, осквернена большими жестокостями. Она была эпохой религиозных убийств, священных войн, опустошения нового мира.

Она была свидетельницей восстановления древнего рабства, но более варварского, более изобилующего преступлениями против природы. Она видела, как меркантильная жадность распоряжалась кровью людей, продавая их как товары, приобретая их пу-

тем измени, грабежа и убийства, перебрасывая их из одного полушария на другое, чтобы там обрекать их среди унижений и оскорблений на длительные мучения медленного и жестокого разрушения.

В то же время лицемерие покрывает Европу кострами и убийцами. Чудовище фанатизма, встревоженное от нанесенных ему ран, казалось, удвоило свою жестокость и торопилось сожрать свои жертвы, чувствуя, что разум скоро вырвет их из его рук. Между тем, мы видим, как, наконец, вновь появляются некоторые из тех кротких и мужественных добродетелей, которые украшают и утешают человечество. История дает имена, которые человечество может с гордостью произносить; души чистые и сильные, великие характеры в сочетании с превосходными талантами показываются время от времени среди сцен предательства, разврата и резни.

Человеческий род дает еще философу, созерцающему его, основание для возмущения. Но он его больше не унижает и подает ему более близкие к осуществлению надежды.

Развитие наук становится быстрым и блестящим. Алгебра обобщается, упрощается и совершенствуется, или, скорее, она тогда только создается. Положены первые основания общей теории уравнений; свойства решений, которые они позволяют находить, тщательно изучаются; найден способ решения уравнений третьей и четвертой степени.

Гениальное изобретение логарифмов, упрощая арифметические операции, облегчает все применения вычисления к реальным предметам и, таким образом, расширяет сферу всех наук, в которых эти численные применения, частные случаи искомой истины явля-

ются одним из способов сравнения с фактами результатов гипотезы или теории и путем этого сравнения позволяют дойти до открытия законов природы. В самом деле, в математике протяженность и усложнение чисто практических вычислений имеют предел, который ни время, ни даже силы не позволяют переходить, и без помощи этих удачных сокращений время отметило бы границы самой науки и предел, который усилия гения не могли бы преодолеть.

Закон падения тел был открыт Галилеем, который сумел вывести теорию равномерного ускоренного движения и вычислить кривую, которую описывает тело, брошенное в пустоте с определенной скоростью и толкаемое постоянной силой, которая действует по параллельным направлениям.

Коперник воскресил истинную систему мира, так давно забытую, разрушил посредством теории движущихся движений то, что было в существовавшей системе противно здравому смыслу, противопоставил крайнюю простоту действительных движений, совершающихся согласно этой системе, почти нелепой путанице тех движений, которые предполагала гипотеза Птоломея. Движения планет были лучше изучены, и гений Кеплера открыл форму их орбит и вечные законы, согласно которым они обегают эти орбиты.

Галилей, применяя в астрономии недавнее изобретение зрительных труб, которые он усовершенствовал, открыл взорам людей новое небо. Пятна, которые он наблюдал на солнечном диске, внушили ему мысль об обращении солнца вокруг своей оси, период и законы которого он определил. Он объяснил фазы Венеры, открыл четыре луны, окружающие Юпитер и сопровождающие его по его громадной орбите.

Он научил точно измерять время посредством качаний маятника.

Таким образом, Галилею человек обязан первой математической теорией движения, которое не было одновременно равномерным и прямолинейным, и первым понятием об одном из механических законов природы; Кеплеру он обязан познанием одного из тех эмпирических законов, открытие которых имеет двойную выгоду: они приводят к познанию механического закона, результат которого они выражают, и добавляют к этому познанию то, чего еще не дано человеку достигнуть.

Открытие веса воздуха и кровообращения отмечает собой прогресс экспериментальной физики, рожденной в школе Галилея, и анатомии, уже слишком обширной, чтобы не отделиться от медицины.

Естественная история, химия, несмотря на несбыточные надежды, возлагавшиеся на эту науку, невзирая на ее загадочный язык, а также медицина и хирургия изумляют своими быстрыми успехами, но также часто удручают зрелищем чудовищных предрасудков, которые они еще сохраняют.

Не говоря о произведениях, в которые Жезнер и Агрикола вложили столько реальных знаний и которые смешение научных и народных заблуждений так редко искажало, мы видим Бернарда де Палисси, то показывающего нам каменоломни, где мы можем добывать материал для наших зданий, и каменные массы, составляющие наши горы, образованные из остатков морских животных, достоверных памятников бывших переворотов на земном шаре, то объясняющего, каким образом воды, поднимающиеся с моря в силу испарения, возвращающиеся на землю, в виде

дождей, задерживаемые пластами жирной глины, превращаясь в льдины на горах, поддерживают вечное течение в фонтанах, ручьях и реках; между тем как Жан Рей открыл тайну сочетаний воздуха с металлами—первый зародыш тех блестящих теорий, которые несколько лет спустя расширили границы химии.

В Италии эпическая поэзия, живопись, скульптура достигли совершенства, какого не знали древние. Корнель возвестил, что драматическое искусство во Франции способно еще более совершенствоваться, ибо если восторженное поклонение древности, быть может, справедливо признавало некоторое превосходство тех гениальных людей, которые создали образцы искусства, то очень трудно допустить, чтобы разум, сравнивая их сочинения с произведениями Италии и Франции, не заметил реального прогресса, достигнутого самим искусством у новейших народов.

Итальянский язык окончательно сформировался, и языки других народов с каждым днем все более очищались от древнего варварства.

Польза метафизики и грамматики стала понятной, появилась потребность ознакомиться с искусством анализировать и философски объяснять выработанные практикой правила или процессы составления слов и фраз.

Всюду в эту эпоху мы видим, что авторитет и разум оспаривают друг у друга власть,—ведут борьбу, которая подготовляла и предвещала торжество последнего.

Тогда же должен был зародиться тот дух критики, который один только может сделать образование действительно полезным. Почувствовалась также потребность узнать все, что было сделано древними,

и начали понимать, что если мы должны им удивляться, то имеем также право их судить. Разум, который иногда опирался на авторитет и против которого последним так часто пользовались, хотел оценить как достоинство той помощи, которую он надеялся в нем найти, так и мотив жертвы, которой от него требовали. Те, которые клади в основание своих воззрений авторитет, видели в нем путеводителя своего поведения, почувствовали, насколько для них важно было обеспечить силу своего оружия, дабы не присутствовать при его крушении от первых атак разума.

Исключительное употребление латинского языка в науках, философии, юриспруденции и отчасти в истории уступило постепенно место употреблению общих языков каждой страны. И здесь уместно исследовать, каково было влияние этого изменения на прогресс человеческого разума, изменения, в силу которого науки стали более популярными, но затруднялась для ученых возможность следить за их общим движением; которое способствовало тому, что книга прочитывалась в одной и той же стране большим количеством людей слабо образованных, но меньше читалась в Европе людьми просвещенными; это изменение избавило от необходимости изучать латинский язык многих людей, жаждущих образования и не имеющих ни времени, ни средств для получения обширного, углубленного образования, но заставило ученых тратить много времени на изучение многих различных языков.

Мы покажем, что если невозможно было сделать латынь народным языком, общим для всей Европы, то сохранение ее в качестве литературно-научного

языка имело бы для ученых только временную пользу; что существование научного языка, одинакового у всех наций, между тем как народы я масса каждой из них говорила бы на различном языке, разделило бы людей на два класса, увековечило бы в народе предрассудки и заблуждения, создало бы вечное препятствие к истинному равенству, равному пользованию достижениями разума, равному познанию необходимых истин и, остановив, таким образом, прогресс массы человеческого рода, в конце концов, положило бы, как на Востоке, предел прогрессу самих наук.

Долгое время образование можно было получить только в церквях и монастырях.

В университетах господствовало еще духовенство. Вынужденное уступить правительствам часть своего влияния, оно удерживало его всецело в области общего и начального образования, которое обнимает знания, необходимые для всех обычных профессий, для всех классов людей, и которое, охватывая детство и юношество, формирует, по желанию, гибкий ум и впечатительную слабую душу. Светской власти оно предоставило право только руководить изучением юриспруденции, медицины, литературы, ученых языков, глубоким научным образованием, школами не столь многочисленными, куда поступали люди, уже обработанные монахами.

Духовенство потеряло это влияние в странах, где утвердилась реформация. Правда, общее обучение, хотя зависимое от правительства, было попрежнему проникнуто теологическим духом, но оно не было исключительно доверено членам духовного сословия. Последнее продолжало развращать умы религиоз-

ными предрассудками, но оно не сгибало их больше под игом духовного авторитета; оно создавало еще фанатиков, мечтателей, софистов, но оно не делало больше людей рабами суеверия.

Однако обучение, находясь всюду в порабощенном состоянии, развращало общую массу умов, подавляя разум детей тяжестью религиозных предрассудков их страны, заглушая политическими предрассудками дух свободы молодых людей, предназначенных получить более широкое образование.

Каждый человек, предоставленный самому себе, не только находил между собой и истиной густую и ужасную фалангу заблуждений своей страны и своего века, но ему лично уже были привиты наиболее опасные из этих заблуждений. Прежде чем рассеять чужие заблуждения, он должен был начать с познания своих собственных, прежде чем устраниТЬ затруднения, которые природа сошает на пути открытия истины, ему необходимо было некоторым образом переделать свой собственный ум. Обучение давало уже знания; но для того, чтобы они могли быть полезны, нужно было их очистить и отделить от тумана, которым суеверие в согласии с тиранней сумели их окутать.

Мы покажем, какие препятствия, более или менее сильные, создавали прогрессу человеческого разума эти недостатки народного образования, эти противоречивые религиозные верования, это влияние различных форм правления. Мы увидим, что этот прогресс совершился тем медленнее, чем объекты, подчиненные контролю разума, более затрагивали интересы политические или религиозные; что общая философия, метафизика, истины которых непосредственно нападали на все суеверия, более упорно за-

держивались в своем движении, чем политика, усовершенствование которой угрожало только авторитету королей и аристократических сенатов; что это самое наблюдение может одинаково применяться к прогрессу физических наук.

Мы обнаружим другие причины неравенства успехов различных наук, обусловленные природой вещей, изучаемых каждой наукой, или методами, которыми она пользуется.

Неравенство, которое мы можем наблюдать относительно одной и той же науки, одинаково в различных странах является также сложным продуктом политических и естественных причин. Мы проследим, что в этих различиях обязано разнообразию в религиозных воззрениях, форме правления, богатству, существуя нации, ее характеру, ее географическому положению, событиям, ареной которых была ее территория, иаконец, случаю, благодаря которому из ее недр вышли некоторые из тех необыкновенных людей, влияние которых, распространяясь на все человечество, оказывается, тем не менее, с большей силой на окружающих их людях.

Мы отличим прогресс самой науки, мерилом которого является только сумма заключающихся в ней истин, от успеха нации в каждой науке, который определяется тогда количеством людей, обладающих наиболее употребительными, наиболее важными истинами, и количеством и природой этих общеизвестных истин.

Действительно, мы дошли до той ступени цивилизации, где польза просвещения для народа выражается не только в тех услугах, которые оказывают ему просвещенные люди, но также в том, что он сумел

сделать знания своим неотчуждаемым достоянием и употребляет их непосредственно для своей защиты от заблуждения, для предупреждения или удовлетворения своих потребностей, для ограждения себя от жизненных невзгод или для смягчения их новыми наслаждениями.

История преследований, которым подвергались в эту эпоху защитники истины, отнюдь не будет забыта. Мы увидим, как эти гонения распространяются от философских или политических истин до принципов медицины, естественной истории, физики и астрономии. В VIII веке один невежественный папа преследовал диакона за то, что последний объявил себя сторонником учения о шарообразности земли против мнения ритора Августина. В XVII веке еще более постыдное невежество другого папы предало в руки инквизиторов Галилея, убежденного, что он доказал суточное и годичное движение земли. И величайший гений, которого новая Италия дала наукам, отягченный старостью и недугами, был вынужден, чтобы избежать наказания или тюрьмы, просить прощения у бога за то, что он научил людей лучше познать его творения и восхищаться простотой вечных законов, которыми он управляет вселенной.

Однако нелепость системы мироздания теологов была столь очевидна, что, уступая требованиям здравого смысла, они позволяли поддерживать учение о движении земли, но лишь как гипотезу и чтобы вера от этого нисколько не пострадала. Но астрономы поступали как раз наоборот: они верили в действительное вращение земли и производили вычисления согласно гипотезе о ее неподвижности.

Троє великих людей—Бэкон, Галилей и Декарт—отметили переход от этой эпохи к следовавшей за ней. Бэкон открыл истинный метод изучения природы, способ пользования тремя орудиями: наблюдением, опытом и вычислением, которые она представила в наше распоряжение, для того чтобы проникнуть в ее тайны. Он хочет, чтобы философ, очутившийся среди вселенной, начал с отречения от всех верований, которые ему были внушены, и даже от всех понятий, которые он сам образовал, чтобы воссоздать себе в некотором роде новое миросозерцание, в котором он отныне должен допускать только точные идеи, справедливые понятия и истины, степень достоверности или вероятности которых была строгозвешена. Но Бэкон, великий гений философии, не отличался научными дарованиями; и эти методы открытия истины, примера применения которых он не дает, удивляли философов, но нисколько не изменили движения наук.

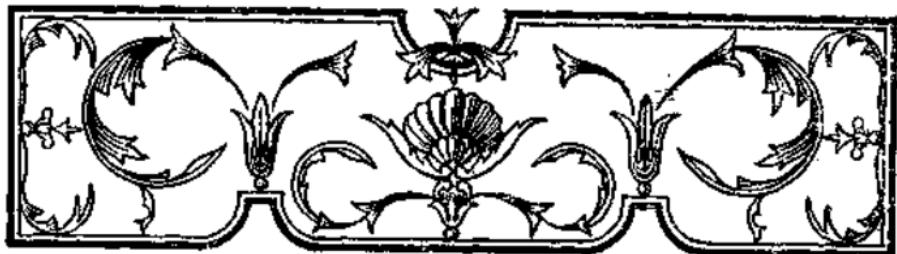
Галилей обогатил их полезными и блестящими истинами; он собственным примером показал, какими средствами нужно пользоваться, чтобы возвыситься до понимания законов природы методом верным и плодотворным, позволяющим надеяться на успех, невзирая на опасности заблуждения. Он основал первую школу для наук, где они разрабатывались без всякой примеси суеверия как основанного на предрассудках, так и опирающегося на авторитет; где все другие средства нахождения истины кроме опыта и вычисления были отброшены с философской строгостью. Но, ограничиваясь исключительно математическими и физическими науками, он не мог вызвать того движения умов, которого они, казалось, ожидали.

Эта честь выпала на долю Декарта, философа остроумного и смелого.

Обладая гениальными научными дарованиями, он добавлял пример к правилу, дал метод нахождения и познания истины. Он показал применение этого метода в открытии законов преломления и у dara тел, наконец, в открытии новой отрасли математики, которая должна была расширить все границы.

Он хотел распространить свой метод на все объекты, доступные человеческому пониманию; бог, человек, вселенная были поочередно предметами его размышлений. Если его исследования в области физических наук не отличаются уверенностью Галилея, если его философия не поражает мудростью Бэкона, если его можно упрекнуть в том, что уроки одного и пример другого недостаточно научили его остерегаться своего воображения, вопрошать природу только опытами, верить только вычислениям, наблюдать вселенную, вместо того чтобы ее строить, изучать человека, вместо того чтобы его разгадывать,—смелость даже его заблуждений способствовала прогрессу человеческого рода. Он взволновал умы, которых не могла пробудить мудрость его соперников. Он звал людей сбросить с себя иго авторитета и признавать только то, что будет одобрено разумом. Он заставил их по-виноваться, ибо он покорял своей смелостью, ибо он увлекал своим энтузиазмом.

Человеческий разум не был еще свободен, но он знал, что создан для свободы. Те, кто осмеливался упрямо удерживать его в цепях или пытался надеть на него новые, вынуждены были доказать ему, что он должен сохранять одни или надевать другие; и отныне нужно было предвидеть, что они будут скоро разбиты.



## ДЕВЯТАЯ ЭПОХА

---

---

### ОТ ДЕКАРТА ДО ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ы видели, как человеческий разум медленно формировался в силу естественного прогресса цивилизации, как суеверие овладевало им, чтобы его развращать, как деспотизм унижал и притуплял умы под тяжестью страха и бедствий.

Только один народ избегает этого двойного влияния. Человеческий разум, освобожденный от уз своего младенчества, идет твердым шагом вперед по пути к истине из той счастливой страны, где свобода

зажгла факел гения. Но завоевание скоро влечет за собой тиранию, которой сопутствует ее верный товарищ—суеверие, и человечество всецело вновь повергается во мрак, который, казалось, должен быть вечным. Однако день постепенно снова показывается; глаза, долгое время обреченные на темноту, смотрят на него мельком, вновь закрываются, медленно привыкают к свету и, наконец, пристально в него вглядываются; и гений дерзает вновь показаться на этой планете, откуда фанатизм и варварство его изгнали.

Мы уже видели, как разум поднимает свои цепи, ослабляет некоторые из них и, приобретая беспрерывно новые силы, готовит и ускоряет момент своей свободы.

Нам остается бросить взгляд на эпоху, когда он окончательно разбивает свои цепи; когда, вынужденный власть их остатки, он постепенно от них освобождается; когда, свободный, наконец, в своих движениях, он может быть остановлен только теми препятствиями, возобновление которых неизбежно при каждом новом прогрессе, ибо они обусловлены самой организацией нашего ума или отношением, установленным природой между нашими средствами открывать истину и сопротивлением, которое она противопоставляет нашим усилиям. Религиозная нетерпимость заставила семь бельгийских провинций сбросить с себя иго Испании и образовать федеративную республику. Только она разбудила английскую свободу, которая, утомленная долгими и кровавыми волнениями, охранялась конституцией, издавна служившей предметом удивления для философии и отныне доведенной до состояния, когда она опиралась толь-

ко на национальное суеверие и политическое лицемерие.

Наконец, преследованиям же духовенства шведская нация обязана была той храбростью, с которой она отвоевала часть своих прав.

Между тем, среди этих движений, вызванных теологическими спорами, во Франции, Испании, Венгрии, Богемии угасала жалкая свобода или то, что, по крайней мере, напоминало о ней.

Напрасно стали бы мы искать в странах, называемых свободными, ту свободу, которая не нарушает ни одного из естественных прав человека, которая гарантирует не только обладание правом, но также и пользование им. Свобода, которую мы там находим, основанная на неравномерно распределенном положительном праве, предоставляет человеку больше или меньше преимуществ в зависимости от его местожительства, классового происхождения, богатства, профессии; и общая картина этих странных различий у разных наций будет лучшим возражением, которое мы могли бы направить против тех, кто видит еще в неравенстве выгоды и необходимость.

Но в этих самых странах законы гарантируют личную и гражданскую свободу. Если человек не является там всем тем, чем он должен быть, его природное достоинство не унижается,—по крайней мере, некоторые из его прав признаны; нельзя больше сказать, что он раб, но только то, что он не сумел еще стать действительно свободным.

У наций, где в течение этого же времени свобода понесла более или менее реальные потери, политические права, которыми пользовалась народная масса, были заключены в чрезвычайно тесные пределы. Но

уничтожение почти самовластной аристократии, под гнетом которой народ стонал, казалось, с лихвой вознаградило потерю. Человек потерял звание гражданина, которое неравенство сделало почти призрачным; но человеческое достоинство более уважалось, и королевский деспотизм спас его от феодального гнета, избавил его от состояния унижения, тем более тягостного, чем чаще количество и присутствие его тиранов давали ему это чувствовать.

Законы должны были совершенствоваться при полусвободных конституциях, ибо интерес тех, кто пользуется действительной властью, обыкновенно не противоположен общим интересам народа и в деспотических государствах—потому ли, что интерес общественного благосостояния часто смешивается с интересом деспота, или потому, что он сам старается уничтожить остатки власти дворянства или духовенства,—законы проникнуты духом равенства, мотивом которых было установить равное для всех рабство, но действия которых могли часто быть благотворными.

Мы подробно изложим причину, обусловившую в Европе этот род деспотизма, примера которого мы не находим ни в предшествовавших веках, ни в других частях света, где почти самовластный авторитет, сдерживаемый общественным мнением, регулируемый просвещением, смягченный собственным интересом, способствовал часто прогрессу богатства, промышленности, образования и иногда даже гражданской свободы.

Нравы смягчались благодаря ослаблению предрасудков, поддерживавших их жестокость, благодаря влиянию духа коммерции и промышленности, врага

жестокостей и потрясений, изгоняющих богатство; вследствие отвращения, которое внушала свежая еще картина варварства предшествовавшей эпохи; благодаря более широкому распространению философских идей, равенства и гуманизма, наконец, в силу медленного, но верного общего прогресса просвещения.

Религиозная нетерпимость существовала, но как изобретение человеческой осторожности, как уважение к народным предрассудкам или как предосторожность против народных волнений. Она потеряла свою ярость; костры, редко зажигаемые, были заменены притеснением, часто более произвольным, но менее варварским; и в эти последние времена религиозные преследования имели место только изредка и то скорее в силу привычки или из угождания. Всюду и во всех вопросах правительства на практике следовали, хотя медленно и как бы нехотя, за движением общественного мнения и даже философии.

В самом деле, если в моральных и политических науках существует в каждый момент большая дистанция между тем пунктом, до которого философы довели знания, и средним пределом, до которого дошли образованные люди, общая доктрина которых образует тот род верования, всеми признаваемого и имеющего общественным мнением,—то те, кто руководят общественными делами, кто непосредственно влияет на судьбы народа, какова бы ни была их конституция, неспособны возвыситься до уровня этого мнения; они следуют за ним, но, не достигая его, несъма далекие от возможности его опередить, неизменно отстают и на многие годы и во многих истинах.

Таким образом, картина прогресса философии и распространения просвещения, наиболее общие и осязательные результаты которой мы уже изложили, приводит нас к эпохе, когда влияние этого прогресса на общественное мнение и влияние последнего на народы или на их повелителей, перестав вдруг быть медленным и нечувствительным, произвело во всей массе некоторых народов переворот, верный залог революции, которая должна охватить большинство человеческого рода.

После долгих заблуждений, после колебаний среди незрелых и неясных теорий публицисты, наконец, дошли до понимания истинных прав человека, научились выводить их из той единственной истины, что человек—существо, наделенное чувствительностью, способное образовывать умозаключения и приобретать моральные идеи.

Они увидели, что поддержание этих прав было единственным мотивом соединения людей в политические общества и социальное искусство должно было состоять в том, чтобы гарантировать сохранение этих прав с наиболее полным равенством, как и в наиболее полном объеме. Они поняли, что средства обеспечения прав каждого, которые должны быть подчинены в каждом обществе общим правилам, власть избрать эти средства, определять эти правила могли принадлежать только большинству членов самого общества, ибо каждый человек не мог бы следовать в этом выборе собственному разуму, не подчиняя умы других; мнение большинства является единственным признаком истины, которая могла бы быть принята всеми без нарушения равенства.

Каждый человек может действительно наперед присоединиться к этому мнению большинства, которое становится тогда мнением человечества; но он может присоединять только самого себя. Даже это большинство обязательно для него лишь постольку, поскольку оно, признав его личные права, не будет их нарушать.

Таковы одновременно права большинства на общество или на его членов и пределы этих прав. Таков генезис единогласия, которое делает обязательными для всех обязательства, принятые только большинством. Обязательство это теряет свою законную силу, когда вследствие изменения людей эта единогласная санкция сама собою перестает существовать. Без сомнения, есть вещи, относительно которых большинство могло бы быть может, высказаться очень часто ошибочно и против общего интереса всех, но ему же принадлежит право решить, каковы те вещи, относительно которых оно не должно полагаться непосредственно на свои собственные решения; оно должно определить, кто будут те лица, разум которых оно считает долгом предпочесть своему, и урегулировать метод, которым они должны пользоваться, чтобы вернее достигнуть истины; и оно не может отречься от права высказаться, не нарушили ли решения, принятые этими лицами, общие всем права.

Итак, перед столь простыми принципами исчезли идеи о договоре между народом и его должностными лицами, договоре, который мог бы быть уничтожен только по взаимному согласию или вследствие неверности одной из сторон. Ичезло возвречение, менее рабское, но не менее абсурдное, которое приковывало народ к раз установленным формам правления, как будто право их изменять не было первой гарантией

всех других, как будто человеческие учреждения, неизбежно страдающие недостатками и способные совершенствоваться, по мере того как люди просвещаются, могли быть обречены на вечное существование. Таким образом, публицисты увидели себя вынужденными отказаться от этой коварной и ложной политики, которая, забывая, что все люди наделены равными правами самой природой, хотела то измерять объем тех прав, которые нужно было им предоставить, сообразно величине территории, температуре климата, национальному характеру, народному богатству, степени развития торговли и промышленности, то распределять эти самые права неравномерно между различными классами людей в зависимости от их происхождения, богатства, профессии и создавать, таким образом, противоречивые интересы, противоположные силы, чтобы затем установить между ними равновесие, которое стало необходимым только благодаря этим учреждениям и которое даже не смягчало опасных влияний.

Итак, никто уже не осмеливался разделять людей на две различные расы, из которых одна предназначена управлять, другая—подчиняться, одна призвана лгать, другая—быть обманутой; пришлось признать, что все имеют равное право следить за своими интересами, познать все истины и что ни одна из властей, установленных ими над самими собой, не может иметь права скрыть от них какую-либо истину.

Эти принципы, за которые великолепный Сидней заплатил своей кровью, которые Локк подкрепил авторитетом своего имени, были затем развиты Руссо с большей точностью, в большем масштабе и с боль-

шей силой. И заслуга его состоит в том, что он возвел их на степень тех истин, которых нельзя больше ни забыть, ни оспаривать.

Человек имеет потребности и способности их удовлетворять; результатом применения этих способностей является различно видоизмененный и распределенный продукт, составляющий массу богатств, предназначенных для удовлетворения общих потребностей. Но каковы законы, согласно которым эти богатства образуются или распределяются, сохраняются или потребляются, увеличиваются или расточаются? Каковы также законы этого равновесия, которое стремится беспрестанно устанавливаться между потребностями и источниками и благодаря которому облегчается удовлетворение потребностей, следовательно, увеличивается благосостояние, когда богатство возрастает до того, что оно достигает предела своего увеличения; и наоборот, когда богатство уменьшается, увеличиваются затруднения и, следовательно, страдания до того, что опустошения и лишения восстановляют уровень? Таким образом в этом удивительном разнообразии форм труда и продуктов, потребностей и источников, в этом ужасном сцеплении интересов, которые связывают существование, благосостояние изолированного человека с общей системой обществ, которые делают его зависимым от всех случайностей природы, от всех политических событий, которые некоторым образом распространяют на весь земной шар его способность испытывать или удовольствия или страдания,—каким образом в этом кажущемся хаосе мы видим, тем не менее, в силу общего мирового морального закона, что усилия каждого для самого себя способствуют благососто-

янию всех, и, невзирая на внешний хаос противоположных интересов, общий интерес требует, чтобы каждый понимал свой собственный интерес и мог беспрепятственно его соблюдать?

Итак, человек должен иметь возможность применять свои способности, располагать своими богатствами, удовлетворять свои потребности с полной свободой. Общий интерес каждого общества, отнюдь не требуя сокращения индивидуального пользования, защищает его, напротив, от нанесения ему ущерба, и в этой части общественного порядка забота обеспечить каждому его естественные права является одновременно единственно полезной политикой, единственным долгом социальной власти и единственным правом, которое общая воля могла бы закономерно осуществлять.

Но раз этот принцип признан, долг общественной силы его исполнить; она должна установить меры, признанные законом, для того чтобы констатировать во всевозможных случаях обмена—вес, объем, ширину и длину обмениваемых вещей.

Она должна создать общую меру для всех ценностей, которой они все могли быть представлены, которая облегчает вычисление их видоизменений и их отношений, которая, имея затем свою собственную ценность, могла бы быть обменена на все вещи, обладающие таковой; средство, без которого торговля, ограниченная прямым обменом, не может развиваться.

Воспроизведение каждого года доставляет свободную для потребления часть, ибо она не предназначена для вознаграждения ни труда, продуктом которого является это воспроизведение, ни труда, который

должен обеспечить новое воспроизведение, равное или более обильное. Обладатель этой свободной части обязан ею отнюдь не своему непосредственному труду; он обладает ею независимо от той деятельности, к которой он может применять свои способности для удовлетворения своих потребностей. Таким образом, эту свободную часть ежегодного достатка общественная сила может, не нарушая ничьих прав, использовать как источник для покрытия расходов, необходимых для обеспечения государственной безопасности, его внутреннего спокойствия, для гарантии прав личности, для содержания органов власти, учрежденных для составления или исполнения законов, наконец, для поддержания общественного благосостояния.

Есть работы, установления, учреждения, полезные обществу, которые оно должно организовать, ими руководить или контролировать их и которые дополняют то, что личная воля и содействие личных интересов не могут сделать непосредственно как для прогресса земледелия, промышленности, торговли, так и для того, чтобы предупреждать, ослаблять неизбежные стихийные бедствия или те, которые обусловливаются непредвидимыми случаями.

До эпохи, о которой мы теперь говорим, и даже долгое время спустя эти различные предметы были предоставлены случаю, жадности правительства, ловкости шарлатанов, предрассудкам или интересу всех командующих классов; но ученик Декарта, знаменитый и несчастный Жан де Вит понял, что политическая экономия должна, как все науки, подчиняться принципам философии и точности вычисления.

Эта наука слабо развивалась до момента, когда Уtrechtский мир обещал Европе продолжительное спокойствие. В эту эпоху мы видим, что стремление изучать эту, до тех пор игнорируемую, область знания захватывает почти все умы; и эта новая наука была возведена Стюартом, Смитом и в особенности французскими экономистами, по крайней мере в смысле точности и чистоты принципов, на ступень, которой невозможно было надеяться достигнуть столь быстро после столь долгого к ней индиферентизма.

Но этот прогресс в области политики и политической экономии был, главным образом, обусловлен прогрессом общей философии или метафизики, понимая это слово в самом широком его смысле.

Декарт сосредоточил свои философские исследования на изучении разума человека; он ясно видел, что разум должен был всецело выделять очевидные и первичные истины, которые наблюдение операций нашего ума должно было нам открыть. Но скоро его нетерпеливое воображение ударило его от того самого пути, который он проложил, и некоторое время казалось, что философия только для того отвоевала свою независимость, чтобы запутаться в новых заблуждениях.

Наконец, Локк ухватился за нить, которая должна была ему служить путеводной; он показал, что строгий анализ, определяя с точностью идеи, разлагая их последовательно на идеи более непосредственные в их происхождении или более простые в их сочетании, был единственным предохраняющим средством, чтобы не затеряться в хаосе неполных, несвязных и неопределенных понятий, случайно и беспорядочно представившихся нам и воспринятых нами без раз-

мышления. Помощью этого самого анализа он доказал, что все понятия суть результаты операций нашего ума над полученными нами ощущениями, или, еще более точно, сочетания этих ощущений, которые память нам одновременно воспроизводит, но так, что внимание останавливается и восприятие ограничивается только частью каждого из этих сложных ощущений.

Он показал, что, представляя словом каждую идею, предварительно анализированную и ограниченную, мы достигаем возможности постоянно припоминать ту же идею, т. е. всегда образованную из тех же самых, более простых идей, всегда заключенную в тех же границах, и, следовательно, получаем возможность пользоваться ею в целом ряде рассуждений, не рискуя сбиться с пути. Наоборот, если слова не соответствуют точно определенной идее, они могут последовательно возбуждать различные представления в одном и том же уме, и таков наиболее обильный источник наших заблуждений. Локк же первый дерзнул установить границы человеческого разума или, скорее, определить природу истин, которые он может познать, и природу вещей, которые он может обнять.

Этим методом скоро стали пользоваться все философы, и именно, применяя его к морали, политике, общественной экономии, они получили возможность следовать в области этих наук путем, почти столь же верным, как в области естественных наук; допускать только доказанные истины, отделять эти истины от всего того, что может еще оставаться сомнительным и неизвестным; наконец, игнорировать то, что еще невозможно, и то, что всегда будет невозможено познать.

Таким образом, анализ наших ощущений открывает нам, в развитии нашей способности испытывать удовольствие и страдание, происхождение наших моральных идей, основание общих истин, которые, происходя из этих идей, определяют неизменные и необходимые законы справедливости и несправедливости, наконец, мотивы нашего поведения, почерпнутые в самой природе нашей чувствительности, в том, что можно было бы назвать некоторым образом нашей моральной конституцией.

Этот самый метод стал в некотором роде универсальным орудием; люди научились пользоваться им для усовершенствования метода физических наук, для объяснения их принципов, для оценки их доказательств; его распространили на исследование фактов, на правила вкуса.

Итак, эта метафизика, применяясь ко всем предметам, доступным человеческому пониманию, анализировала процессы ума в каждом роде познания, вскрывала сущность истин, образующих его систему, степень уверенности, которой можно достичь. И это является тем последним шагом философии, благодаря которому образовалась некоторым образом вечная пропасть между человеческим родом и старыми заблуждениями его младенчества, шагом, который должен воспрепятствовать тому, чтобы новые предрассудки когда-либо привели вновь человека к старому невежеству, а также обеспечить падение всех тех, которые мы сохраняем, не зная еще, может быть, их всех, даже тех, которые смогут их заменить, но которые будут иметь только слабое влияние и эфемерное существование.

Между тем, в Германии человек широкого и глубо-

кого ума набросал основы новой доктрины. Его пылкое и смелое воображение не может успокоиться в скромной философии, оставившей нерассеянными сомнения в великих вопросах о духе или о сущности человеческой души, о свободе человека или бога, о существовании страдания и преступления во вселенной, управляемой всемогущим разумом, мудрость, справедливость и доброта которого, казалось, должны были исключить возможность их существования. Он рассек узел, который мудрый анализ не мог бы развязать. Он построил вселенную из простых неразрушимых существ, равных по своей природе. Отношение каждого из этих существ к каждому из тех, которые входят с ним в систему вселенной, определяет его качества, которыми оно отличается от всех других; человеческая душа и последний атом каменной глыбы являются одинаково одной из этих монад. Они различаются только благодаря тому или иному местоположению, которое они занимают в порядке вселенной.

Из всех возможных сочетаний этих существ бесконечный разум избрал наиболее совершенное, и он мог избрать только этот. Если существующий мир удручет нас зрелищем бедствий и преступлений, то всякое другое сочетание дало бы еще более печальные результаты.

Мы изложим эту систему, которая, принятая или, по меньшей мере, поддержанная соотечественниками Лейбница, задержала у них прогресс философии. Целая школа английских философов с одушевлением ухватилась и красноречиво защищала оптимистическую доктрину. Умы менее искусные и менее глубокие, чем Лейбниц, который обосновал ее, главным

образом, на том, что всемогущий разум в силу необходимости, обусловленной самой его природой, мог избрать только лучший из возможных миров, стремились в наблюдении нашего мира найти доказательство его превосходства, и, потеряв все преимущества, которыми отличается эта система, поскольку она остается в области абстрактной общности, они слишком часто заблуждались в подробностях возмутительных или бессмысличных.

Между тем, в Шотландии другие философы, не соглашаясь с мнением, что анализ развития наших реальных способностей может привести к принципу, который явился бы достаточно чистым, достаточно твердым основанием для наших моральных поступков, изобрели новую способность человеческой души, отличную от способности чувствовать или рассуждать, но вступающую с последними в сочетания, способность, существование которой они доказывали, только уверяя, что без нее не могли бы обойтись. Мы начертаем историю этих взглядов и покажем, что если они были вредны для развития философии, то они были полезны для более быстрого распространения философских идей.

До сих пор мы говорили о прогрессе философии только среди людей, которые ее разрабатывали, углубляли и совершенствовали. Нам остается показать, каково было ее влияние на общественное мнение и таким образом, в то время возвысившись, наконец, до познания подлинного метода открытия истины, разум научился предохранять себя от заблуждений, к которым уважение к авторитету и воображение так часто его увлекали. В то же время разум разрушил в общей массе людей предрассудки, которые

так долго изнуряли и развращали человеческий род. Было, наконец, позволено громко провозглашать право, столь долго не признаваемое, подчинять все воззрения нашему собственному разуму, т. е. пользоваться для понимания истины единственным орудием, которое нам дано для того, чтобы ее познать. Каждый человек с некоторой гордостью узнавал, что природа отнюдь не предназначала его верить слову другого; и древнее суеверие, унижение разума перед бредом сверхъестественной веры исчезли из общества, как и из философии.

В Европе скоро образовался класс людей, менее занятых открытием и углублением истины, чем ее распространением, которые, поставив себе целью преследовать предрассудки в убежищах, где духовенство, школы, правительства, старые корпорации собирали их и покровительствовали им, стремились разрушать народные заблуждения скорее, чем расширять границы человеческих знаний—косвенный путь содействовать их прогрессу, который был не менее опасен, но также не менее полезен.

В Англии Коллинс и Болингброк, во Франции Бейль, Фонтенель, Вольтер, Монтескье и школы, образованные этими знаменитыми людьми, сражались за истину, пользуясь попеременно всеми средствами, которые эрудиция, философия, ум, литературное дарование могут доставить разуму, употребляя все формы, от шутки до патетических произведений, от наиболее ученой и наиболее обширной компиляции до романа или злободневного памфлета. Они покрывали истину вуалью, защищавшей от ее света слишком слабые глаза и доставлявшей удовольствие отгадывать ее. Они ласкали предрассудки, чтобы с ловкостью нане-

сти им более верные удары, почти никогда им не угрожая, ни нескольким одновременно, ни даже одному в полном его объеме. Они утешали иногда врагов разума, показывая вид, что хотят в религии только полуторпимости, в политике только полусвободы; они щадили деспотизм, когда боролись против религиозных нелепостей, и культ, когда восставали против тирании; они нападали на эти два бича в их принципе, хотя показывали вид, что метят только в возмутительные или бессмысленные их злоупотребления, и поражали эти гибельные деревья в их корнях, когда казалось, что они ограничиваются обрезыванием некоторых запутавшихся ветвей. Они то учили друзей свободы, что суеверие, покрывающее деспотизм непроницаемым щитом, есть первая жертва, которую они должны принести, первая цепь, которую они должны разбить; то, напротив, представляя его деспотам как истинного врага их власти и укасая их картиной его лицемерных заговоров, его кровавой ярости, но никогда не уставая провозглашать независимость разума, свободу печати как право, как спасение человеческого рода. Они поднимались с неутомимой энергией против всех преступлений фанатизма и тирании, преследуя в религии, в администрации, в нравах, в законах все то, что носило характер угнетения, жестокости, варварства; приказывая именем природы королям, воинам, судьям, священникам уважать кровь людей, строжайше упрекая их в крови, которую их политика или индифферентизм проливали еще в сражениях или наказаниях, в конечном счете выставляя лозунгом войны разум, терпимость, человечность.

Такова была эта новая философия, предмет общей ценности всех тех многочисленных классов, которые существуют только в силу предрассудков, живут только заблуждениями, могущественны только благодаря легковерию; почти всюду принимаемая, но преследуемая, имеющая королей, священников, вельмож, судей учениками и врагами. Ее главари почти всегда обладали искусством избегать мести, возбудив против себя ненависть, и укрываться от преследования, показав себя достойными своей славы.

Часто правительство вознаграждало их одной рукой, платя другой их клеветникам, изгоняло их и гордилось, что они родились на его территории, наказывало их за их возарения и сочло бы себя оскорбленным подозрением, что оно их не разделяет.

Эти возарения скоро должны были, таким образом, сделаться возарениями всех просвещенных людей, признаваемыми одними, скрываемыми другими с более или менее проаальным лицемерием, в зависимости от их более или менее робкого характера и их желания поступаться противоречивыми интересами своей профессии или тщеславия.

Но уже последнее обстоятельство было достаточно сильно, для того чтобы вместо глубокой скрытности прошедших веков просвещенные люди довольствовались для самих себя и часто для других разумной осторожностью.

Мы проследим прогресс этой философии в различных частях Европы, куда инквизиция правительства и духовенства не могла помешать французскому языку, ставшему почти всеобщим, быстро ее вносить. Мы покажем, с какой ловкостью политика и суеверие употребляли против нее все то, что человеческое зна-

ние может представить как мотивы недоверия своему разуму, как аргументы для указания его границ и слабости, и как они сумели заставить служить даже пирронизм делу защиты легковерности.

Французские экономисты с энтузиазмом пропагандировали простую систему, которая предоставляла неограниченную свободу всему тому, что наиболее верно поощряло торговлю и промышленность, которая освобождала народы от бича-разрушителя—унизительного ига налогов, распределяемых столь неравномерно, взимаемых с такими издержками и часто с таким варварством, заменяя их справедливой, равной и почти неощущимой податью. Они пропагандировали ту теорию, которая связывала действительное могущество и богатство государств с благосостоянием индивидов и уважением к их правам, которая объединяла узами общего счастья различные классы, на которые эти общества естественно разделялись; ту столь утешительную идею об обратстве человеческого рода, приятную гармонию которого никакой национальный интерес не должен был тревожить, словом, принципы, подкупающие своим великодушием, как и своей простотой и обширностью. Успех экономистов был менее быстрым, менее общим, чем успех философов; им пришлось бороться с менее грубыми предрассудками, с более тонкими заблуждениями. Им нужно было проповедовать, прежде чем выводить из заблуждения, и воспитывать здравый смысл, прежде чем сделать его судьей.

Но если они сумели привлечь к своему учению лишь небольшое количество последователей, если они пугали общностью своих правил и непреклонностью своих принципов, если они сами вредили своему делу, прибегая к туманному и догматическому языку,

обнаруживая слишком часто забывчивость относительно политической свободы ради интересов свободы торговли, представляя в форме слишком безусловной, слишком наставительной некоторые части своей системы, которые они только поверхностно изучали,— им, по крайней мере, удалось сделать ненавистной и презреною трусивую, коварную и развращенную политику, которая видела благополучие нации в обеднении ее соседей, в узких взглядах запретительного режима, в мелких комбинациях тиранического фиска.

Но новые истины, которыми гений обогатил философию, политику и общественную экономию, признанные в большем или меньшем объеме просвещенными людьми, далеко распространяли свое спасительное влияние.

Искусство книгопечатания охватило такие вопросы, так умножило книги, последние были так умело приурочлены ко всем степеням знания, применения и даже богатства, ими с такой ловкостью удовлетворялись все вкусы, все умственные запросы, содержание их так легко и часто, даже так приятно усваивалось, они открыли для истины столько дверей, что стало почти невозможно все закрывать, что не было больше класса, профессии, достигнуть которых истине можно было помешать. И хотя всегда оставалось большое количество людей, обреченных на добровольное или вынужденное невежество, граница, проведенная между некультурной и просвещенной частями человеческого рода, тогда почти совершенно стерлась, и незаметная постепенность заполнила промежуток между двумя крайностями, между гением и тупоумием.

Таким образом, общее сознание естественных прав человека, даже возарение, что эти права неотчуж-

даемы и неотъемлемы, сильно высказанное желание свободы совести и печати, свободы торговли и промышленности, облегчение участия народа, уничтожение всякого уголовного закона против диссидентских религий, уничтожение пытки и варварских наказаний, желание иметь уголовное законодательство более мягкое, юриспруденцию, которая гарантировала бы полную безопасность невиновности, гражданские законы более простые, более отвечающие разуму и природе; индифферентизм ко всем религиям, рассматриваемым, наконец, как суеверия или политические изобретения, ненависть к лицемерию и фанатизму, презрение к предрассудкам, ревность в распространении просвещения—эти принципы, переходя постепенно из произведений философов ко всем классам общества, где образование не ограничивалось катехизисом и уменьем писать, стали общим исповеданием, символом для всех тех, кто не был ни макиавеллистом, ни слабоумным. В некоторых странах эти принципы образовали общественное мнение, достаточно общее, для того чтобы сама народная масса казалась готовой руководиться им и ему подчиняться. Чувство гуманности, т. е. нежное и активное сострадание ко всем бедствиям, поражающим человеческий род, отвращение ко всему тому, что в общественных учреждениях, в правительственныех актах, в частных поступках добавляло новые страдания к неизбежным естественным страданиям человека, это чувство гуманности было прямым следствием этих принципов; им были проникнуты все сочинения, все речи, и его счастливое влияние отражалось уже на законах и общественных учреждениях даже народов, подчиненных деспотизму.

Философы различных наций, охватывая в своих размышлениях интересы всего человечества без различия стран, расы или секты, образовали, несмотря на различие в своих спекулятивных воззрениях, сильно сплоченную фалангу против всех заблуждений, против всякого рода тирании. Воодушевляемые чувством всеобщей филантропии, они боролись с несправедливостью, когда она, чуждая их отечеству, не могла им лично вредить; они не щадили ее также тогда, когда виновным в ней оказывалось само их отечество по отношению к другим народам; они восставали в Европе против преступлений, которыми жадность оскверняла берега Америки, Африки или Азии. Философы Англии и Франции считали для себя честью носить имя и исполнять обязанности д *р* у а е й тех самых негров, которых их тупые тираны гнушались признавать людьми. Похвалы французских писателей были наградой за терпимость, признанную в России<sup>1</sup> и Швеции, между тем как Беккария опровергал в Италии варварские правила французской юриспруденции.

Во Франции старались излечить Англию от ее коммерческих предрассудков, от ее суеверной почтительности к недостаткам ее конституции и ее законов, между тем как почтенный Говард укорял французов в варварской беспечности, поглощавшей в их госпиталях и тюрьмах столько человеческих жертв. Жестокость или развращенность правительства, нетерпимость духовенства, сами национальные предрассудки потеряли свою гибельную власть заглушать

<sup>1</sup> Кондорсэ был введен в заблуждение либеральными жестами Екатерины II, в России же господствовали свирепое крепостное право и деспотизм.—Ред.

голос истины, и никто — ни враги разума, ни угнетатели свободы — не мог избежать суда, который скоро становился судом всей Европы.

Наконец, начало развиваться новое учение, которое должно было нанести последний удар уже потрясенному зданию предрассудков, то учение о способности человеческого рода неограниченно совершенствоваться, первыми и наиболее знаменитыми апостолами которого были Тюрго, Прис и Пристли; оно относится к десятой эпохе, где мы разовьем его более подробно. Но мы должны изложить здесь происхождение и прогресс одной ложной философии, против которой это учение явилось столь необходимой опорой для торжества разума.

Созданная одними из гордости, другими из своекорыстных соображений, имея тайной целью увековечить невежество и продлить царство заблуждений, эта философия приобрела многочисленных последователей, которые то разворачивали разум блестящими парадоксами или соблазняли его удобной ленью абсолютного пирронизма, то настолько презирали человеческий род, что объявляли прогресс просвещения бесполезным и даже опасным для его счастья, как и для его свободы, то, наконец, вводили его в заблуждение ложным энтузиазмом воображаемых величия или мудрости, освобождающих добродетель от необходимости просвещаться и здравый смысл от обязанности опираться на реальные знания. Здесь говорили о философии и серьезных науках как о теориях, слишком недоступных для существа ограниченного, окруженнего нуждой и подчиненного повседневным и тяжелым обязанностям; там презрительны высказывались о них как о наборе шатких отвлечен-

ностей, которые должны исчезать перед деловым опытом и ловкостью государственного человека. Последователи этой философии беспрестанно жаловались на упадок просвещения, когда оно прогрессировало, сокрушались о принижении человеческого рода, по мере того как люди припомнами свои права и пользовались своим разумом, объявляли даже ближайшую эпоху эпохой тех потрясений, которые должны привести человеческий род к варварству, невежеству, рабству, в момент, когда все объединялось для доказательства, что ему не приходится больше их бояться. Они, казалось, были унижены его совершенством, ибо искажено не разделяли славы, способствовавшей этому, они были испуганы его прогрессом, который предвещал падение их значения или власти. Однако некоторые шарлатаны, более ловкие, чем те, которые неискусной рукой старались поддерживать здание древних суеверий, основание которого подкопала философия, пытались одни использовать развалины этого здания для построения религиозной системы, где от разума, восстановленного в его правах, требовалось только полуподчинение, где ему представлялась почти свобода совести, но он должен был только согласиться считать некоторую вещь непостижимой, между тем как другие пробовали воскресить в тайных обществах забытые мистерии древней феургии и, оставляя народу его старые заблуждения, опутывая своих учеников новыми суевериями, дерзали надеяться восстановить благодаря некоторым адептам древнюю тиранию королей, первосвященников Индии или Египта. Но философия, укрепленная на непоколебимой основе, которую науки ей подготовили, противопоставила

им барьер, о который их жалкие усилия должны были скоро разбиться.

Сравнивая состояние умов, эскиз которого я выше набросал, с политической системой правительства, можно было легко предвидеть, что великая революция была неминуема; и нетрудно было судить, что она могла быть проведена только двумя способами: нужно было или чтобы народ сам установил эти принципы разума и природы, которые философия сумела сделать для него дорогими, или чтобы правительства поспешили его предупредить и согласовали бы свои действия с его воззрениями. Одна из этих революций должна была быть более полной, более быстрой, но более бурной; другая—более медленной, менее полной, но более мирной; в одной свобода и счастье должны были быть куплены ценою временных бедствий; в другой эти бедствия избегались, но задерживалось, быть может, и долго, и слаждение частью благ, которые она тем не менее должна была неминуемо произвести.

Развращенность и невежество правительства предпочли первый способ, и быстрое торжество разума и свободы отомстило за человеческий род.

Простой здравый смысл должен был подсказать жителям британских колоний, что англичане, рожденные по ту сторону Атлантического океана, получили от природы точно такие же права, как и другие англичане, рожденные под Гринвичским меридианом, и что разница на семьдесят градусов долготы не могла их изменить. Они, может быть, лучше европейцев знали, каковы были права, общие всем индивидам человеческого рода, и они также понимали свое право не платить никакой пошлины, на установление

которой они своего согласия не давали. Но британское правительство притворилось верующим, что бог создал Америку, как Азию, для удовольствия лондонских жителей, и, не шутя, хотело удержать в своих руках по ту сторону морей подчиненную нацию, которой оно в случае надобности могло бы пользоваться для угнетения европейской Англии. Оно приказало покорным представителям английского народа нарушить права Америки и обложить ее принудительными пошлинами. Последняя провозгласила, что несправедливость разорвала узы, соединявшие ее с метрополией, и объявила свою независимость.

Мир тогда впервые увидел, как великий народ, освободившийся от всех своих цепей, сам мирно дает своей стране конституцию и законы, которые он считал наиболее способными содействовать его счастью, и так как его географическое положение и старый политический строй вынуждали его образовать федеративную республику, он в своих недрах вырабатывает одновременно тридцать республиканских конституций, имеющих общей базой торжественное признание естественных прав человека и главной целью—сохранение этих прав. Мы начертаем картину этих конституций, мы покажем то, чем они обязаны прогрессу политических наук, и то, что предрассудки воспитания могли им сообщить в виде старых заблуждений; почему, например, система равновесия властей портит еще их простоту, почему принцип тождества интересов занимает в них еще больше места, чем равенство прав. Мы докажем не только то, что этот принцип тождества интересов, если он служит регулятором политических прав, является нарушением по отношению к тем, кому предоставляется

пользование этими правами не в полном их объеме, но также и то, что это тождество перестает существовать именно в тот момент, когда оно становится истинным неравенством. Мы подробно остановимся на этом вопросе, ибо это единственное заблуждение, внушающее еще опасения. Оно является единственным, от которого истино просвещенные люди еще не освободились. Мы покажем, каким образом американские республики осуществили эту, тогда еще новую в теории идею о необходимости установить и регулировать законом правильный и мирный способ реформировать сами конституции и отделять эту власть от законодательной.

Но в войне, возникшей между двумя просвещенными народами, из которых один защищал естественные права человечества, а другой противопоставлял последним ложное учение, подчиняющее эти права предписанию, политическим интересам, писанным соглашениям, эта великая тяжба предстала перед трибуналом общественного мнения в присутствии всей Европы, права людей были громко поддержаны и развернуты без ограничения и без изъятия в сочинениях, свободно циркулировавших от берегов Невы до Гвадалквирира.

Эти споры проникали в страны наиболее поработленные, в места наименее отдаленные, и люди, населявшие их, были удивлены, узнав, что они имеют права; они учились разбираться в них; они знали, что другие люди дерзали их отвоевать или защищать.

Американская революция должна была скоро распространиться на всю Европу. И если существовал народ, среди которого для успеха борьбы американцев распространялись более чем где-либо их сочи-

нения и их принципы, который был одновременно наиболее просвещенным и одним из наименее свободных, страна, где философы обладали наибольшим количеством истинных знаний и правительство обнаруживало невежество наиболее наглое, наиболее грубое, где законы настолько не соответствовали общему состоянию умов, что ни национальная гордость, ни какой-либо предрассудок не могли привязать народ к его старым учреждениям,—разве этот народ не был предназначен в силу самой природы веющей дать первый толчок той революции, которую друзья человечества столь нетерпеливо ожидали и на которую они возлагали столько надежд? Она должна была, таким образом, начаться во Франции.

Неискусность ее правительства ускорила эту революцию; философия явилась ее идеейной руководительницей; народная сила разрушила препятствия, которые могли остановить движение.

Она была более полной, чем американская, и, следовательно, более нарушила внутренний мир. Ибо американцы, довольствовавшиеся гражданскими и уголовными законами, данными им Англией, не имевшие надобности реформировать порочную налоговую систему, разрушать феодальную тиранию, уничтожать наследственные различия привилегированных, богатых или могущественных корпораций, ликвидировать систему религиозной нетерпимости,—ограничивались установлением новых властей, заменив ими ту, которая до сих пор принадлежала британской нации. Эти нововведения нисколько не отразились на народной массе; ничто не изменилось в отношениях, установившихся между индивидами. Во Франции, наоборот, революция должна была

охватить всю экономическую жизнь общества, изменить все социальные отношения и проникнуть до последних звеньев политической цепи, до индивидов, которые, живя спокойно доходами от своего имущества или своей промышленности, не побуждаются к участию в народных движениях ни своими воззрениями, ни своими занятиями, ни интересами богатства, честолюбия или славы.

Американцы, которые, казалось, боролись только против тиранических предрассудков метрополии, имели союзниками могущественных соперников Англии, между тем как другие, завистливые к ее богатству и гордости, своими тайными обещаниями содействовали скорому торжеству справедливости; таким образом, вся Европа, казалось, объединилась против угнетателей. Французы, напротив, атаковали одновременно и деспотизм королей, и политическое неравенство полусвободных конституций, и надменность дворянства, и господство, нетерпимость и богатства духовенства, и злоупотребления феодалов, свирепствовавших почти во всей Европе; поэтому могущественные европейские государи должны были общими силами встать на защиту тирании. И Франция могла услышать в свою пользу только голоса некоторых мудрецов и робкие обещания угнетенных народов. Этой помощи клевета стремилась ее лишить.

Мы покажем, почему принципы, легшие в основание конституции и законов Франции, были более чисты, более точны, более глубоки, чем те, которыми руководствовались американцы; почему они гораздо более полно избежали влияния всякого рода предрассудков; каким образом равенство прав не было здесь нигде заменено тем тождеством интересов, которое

является только жалким и лицемерным придатком; как это равновесие властей, которым столь долго восхищались, оказалось бесполезным, когда власти были ограничены точными пределами; как вожди великой нации, по необходимости рассеянной, разделенной на большое количество изолированных и частичных собраний, впервые решились сохранить ей право верховной власти, право подчиняться только законам, способ составления которых, если оно поручено представителям, был узаконен ее непосредственным одобрением, возможность пересмотра которых, если они нарушают ее права или интересы, она могла бы всегда получить посредством правильного акта своей верховной воли.

С момента, когда гений Декарта оказал на умы общее влияние и первый принцип революции в судьбах человеческого рода был провозглашен, до счастливой эпохи полной и чистой социальной свободы, когда человек мог вступить в пользование своей естественной независимостью, лишь пройдя длинный ряд веков рабства и бедствий, картина прогресса математических и физических наук представляет нам необозримый горизонт, различные части которого нужно выделить и привести в порядок, если хотим лучше обнять целое и лучше заметить отношения между этими частями.

Не только приложение алгебры к геометрии стало обильным источником открытий в этих двух науках, но, доказав этим великим примером, как методы вычисления величин вообще могли распространиться на все вопросы, имевшие предметом измерение протяженности, Декарт заранее объявил, что они могли бы с равным успехом применяться ко всем предме-

там, отношения которых доступны точной оценке; и это великое открытие, показав впервые конечную цель науки—подчинять все истинны точности счета, дало возможность надеяться ее достичнуть, наметив необходимые для этого средства.

Вскоре после этого открытия последовало изобретение нового исчисления, позволяющего находить отношения последовательных возрастаний или убываний переменной величины или самую величину, зная это отношение, как в том случае, когда предполагается предел этим возрастаниям, так и тогда, когда отношение ищется только в момент превращения их в нуль, метод, который, распространяясь на все сочетания переменных величин, на все гипотезы их изменений, приводит равным образом к определению для всех вещей, изменения которых могут быть точно измерены, или отношений их элементов, зная отношения самих вещей, или отношений вещей, когда известны только отношения их элементов.

Лейбничу и Ньютону мы обязаны открытием этих исчислений, которое было подготовлено трудами геометров предшествовавшего поколения. Их прогресс, беспрерывно продолжавшийся более века, явился продуктом трудов и источником славы многих гениальных людей, и глазам философа, который может его обогареть, даже не следя за ним, представляется как внушительный памятник сил человеческого ума.

Излагая образование и принципы существующего еще теперь алгебраического языка, единственно истинно точного, истинно аналитического, сущность технических процессов этой науки, сравнивая эти процессы с естественными операциями человеческого ума, мы покажем, что этот метод, употребляющийся

только как частное средство в науке о величинах, заключает в себе принципы универсального орудия, применимые ко всем сочетаниям идей.

Рациональная механика становится скоро обширной и глубокомысленной наукой. Истинные законы столкновений тел, относительно которых Декарт заблуждался, наконец, найдены.

Гюйгенс открывает законы движения по циклоиду; он дает в то же время метод определения, к какому кругу должен принадлежать каждый элемент какой-нибудь кривой. Соединив эти две теории, Ньютона нашел теорию криволинейного движения; он применил ее к тем законам, согласно которым Кеплер открыл, что все планеты обращаются по эллипсам, в одном из фокусов которых находится солнце.

Планета, которая предполагается брошенной в пространство в данный момент с определенной скоростью и по определенному направлению, обегает вокруг солнца эллипс вследствие притяжения, испытываемого ею к этому светилу, обратно пропорционального квадрату расстояний. Эта самая сила удерживает спутников в их орbitах вокруг главной планеты. Она распространяется на всю систему небесных тел; все элементы, составляющие последние, взаимно друг к другу притягиваются.

Правильность планетных эллипсов иногда нарушается, и вычисление объясняет эти пертурбации с точностью до самых незначительных их уклонений. Эта сила действует на кометы, и теория позволяет определить их орбиты и предсказать их возвращение. Движение земли и луны вокруг своих осей также свидетельствует о существовании этой всемирной силы. Наконец, она же является причиной веса зем-

ных тел, в которых он кажется постоянным, ибо мы не можем наблюдать их на расстояниях, достаточно различных между собой от центра притяжения.

Итак, человек узнал, наконец, один из физических законов вселенной; он является еще до сих пор единственным, как единственна слава того, кто его открыл.

Труды целого столетия подтвердили этот закон, которому все небесные явления оказались подчиненными с поразительной точностью; каждый раз, когда какое-нибудь из них, казалось, уклонялось от нормы, это временное отклонение становилось скоро предметом нового торжества.

Философия почти всегда вынуждена искать в произведениях гениального человека тайную нить, которой он руководился; но здесь интерес, побуждаемый восхищением, заставил открыть и сохранить драгоценные анекдоты, которые позволяют проследить шаг за шагом движение мысли Ньютона. Мы ими воспользуемся, чтобы показать, как случайные счастливые комбинации содействуют усилиям гения в великом открытии и как комбинации менее благоприятные могли бы их замедлить или сберечь плоды их для других.

Но Ньютон сделал более, может быть, для прогресса человеческого разума, чем открытие этого общего закона природы; он учил людей допускать в физике только точные и вычисленные теории, которые доказывают не только существование явления, но также его величину. Между тем, его обвинили в возврополнении таинственных приемов древних, ибо общую причину небесных явлений он сводил к простому факту, неопровергнутую реальность которого доказывало

наблюдение. И само это обвинение показывает, насколько научные методы нуждались еще в философском освещении.

Масса проблем статики и динамики были последовательно предложены и разрешены, когда Даламбер открыл общий принцип, который один был достаточен для определения движения какого-либо количества точек, для движущихся под влиянием каких-либо сил и соединенных между собой в силу известных условий. Этот самый принцип он скоро распространил на конечные тела определенной фигуры, на тела, которые вследствие своей эластичности или гибкости могут изменять свою фигуру, но согласно известным законам и сохраняя известные отношения между частями, наконец, на жидкости как сохраняющие постоянную плотность, так и находящиеся в состоянии расширения. Для разрешения этих последних вопросов необходимо было новое исчисление; оно не могло миновать своего гения; и механика отныне становится точной наукой.

Эти открытия относятся к математическим наукам; но сущность как закона всемирного тяготения, так и принципов механики, следствия, которые можно извлечь из них для объяснения вечного порядка вселенной, суть предметы философии. Люди научились понимать, что все тела подчинены необходимым законам, в силу которых они сами стремятся притти в равновесие или поддержать его, создать или сохранить правильность в движениях.

Познание законов, управляющих небесными явлениями, открытия математического анализа, которые приводят к более точным методам вычисления кажущихся явлений; то совершенство, на которое невоз-

могло было даже надеяться, до которого были доведены и оптические инструменты и те, в которых точность делений становится мерилом точности наблюдений; точность машин, предназначенных для измерения времени; широко распространившаяся склонность к наукам, связанная со стремлением правительства увеличить число астрономов и обсерваторий,—все эти причины, взятые вместе, обеспечили прогресс астрономии.

Небо, в глазах человека, обогащается новыми светилами, и он умеет верно определять их положения и предвидеть их движения.

Физика, уже избавленная от схоластических нелепостей, постепенно освобождаясь от смутных объяснений, введенных Декартом, приобретает характер искусства проникать в тайны природы путем опыта, чтобы затем, основываясь на полученных данных, выводить посредством вычисления более общие факты.

Вес воды определен и измерен; становится известным, что передача света не мгновенна; скорость ее определяется. Вычисляется отношение этого обстоятельства к видимой картине неба; солнечный луч разложен на лучи более простые, различно преломляющиеся и различно окрашенные. Явление радуги объяснено, и средства, позволяющие образовать или удалять ее цвета, подчинены вычислению. Электричество, которое было известно только как свойство некоторых веществ при трении их о другие притягивать легкие тела, становится одним из общих явлений вселенной. Причина молний уже не тайна, и Франклин открывает людям искусство ее отводить или направлять по своему желанию. Вводятся в употребление новые инстру-

мэнты для измерения колебаний веса атмосферы, изменения влажности воздуха и температуры тел. Новая наука под названием метеорологии учит познавать, иногда предвидеть явления атмосферы, законы которых, теперь еще неизвестные, она позволит нам со временем открыть.

Представляя картину этих открытий, мы покажем, как методы, которыми руководились физики в своих исследованиях, очищались и совершенствовались, как искусство производить опыты, изготавливать физические приборы последовательно достигало все большей точности, так что физика не только каждый день обогащалась новыми истинами, но истины, уже доказанные, приобрели гораздо больше достоверности, не только была замечена и анализирована масса новых фактов, но все они были подчинены в их подробностях измерениям более строгим.

Физике приходилось бороться только со схоластическими предрассудками и столь соблазительными для лени общими гипотезами. Другие препятствия замедляли прогресс химии. Предполагалось, что она должна открыть секрет изготовления золота и тайну бессмертия.

Великие интересы делают человека суеверным. Не допускалось мысли, чтобы надежды, выражавшие две наиболее сильные страсти дюжинных натур и возбуждавшие также стремление к славе, могли бы быть осуществлены обычными средствами; поэтому все сумасбродства, которые вздорная легковерность когда-либо изобрела, казалось, соединились в головах химиков.

Но эти химеры постепенно уступали место механической философии Декарта, которая была также

скоро отброшена и заменена истинно-экспериментальной химией. Наблюдения явлений, сопровождающих соединения и разложения тел, исследование законов этих операций, разложение веществ на простейшие элементы приобретали все возрастающие точность и строгость.

Но к успехам химии нужно добавить некоторые из тех усовершенствований, которые, обнимая всю систему какой-либо науки, занимаясь более распространением ее методов, чем увеличением количества заключавшихся в ней истин, предвещают и подготавливают счастливый переворот. Таково было открытие новых способов удерживать и подвергать опытам газы, которые до тех пор были недоступны исследованию. Это открытие, позволяя оперировать над целым классом новых веществ и над уже известными, диспергированными до состояния, в котором они ранее ускользали от наших исследований, и добавляя почти ко всем сочетаниям добавочный элемент (легучесть.—Перев.), изменило, так сказать, всю систему химии. Таково было образование языка, где названия, означающие вещества, выражают те отношения или различия веществ, имеющих общий элемент, то класс, к которому они принадлежат. Таковы были также и употребление научной письменности, где вещества представлены аналитически комбинированными буквами, посредством которых можно выразить даже простейшие операции, и общие законы химического сродства, и пользование всеми средствами, всеми приборами, которые служат в физике для вычисления со строгой точностью результата опытов, и, наконец, применение вычисления к явлениям кристаллизации, к законам, согласно которым элементы известных

тел, соединяясь, принимают правильные и постоянные формы.

Люди, которые долгое время, отнюдь не стремясь познать образование земного шара, умели объяснять его только суеверными или философскими бреднями, почувствовали, наконец, необходимость изучить с тщательным вниманием как на его поверхности, так и в той его внутренней части, куда потребности заставляли их проникать, и вещества, там находящиеся, и их случайное или правильное распределение, и расположение масс, ими образованных. Они научились распознавать следы медленного и продолжительного действия морской воды, земных вод и огня; отличать часть поверхности и внешней земной коры, где неровности, расположение находящихся там веществ и часто сами эти вещества являются продуктом действия огня, земных и морских вод, от другой части земного шара, образованной преимущественно из разнородных веществ и носящей печать более древних революций, факторы которых нам еще неизвестны.

Минералы, растения, животные разделяются на множество видов, представители которых различаются только незаметными и преходящими особенностями, обусловленными чисто локальными причинами: многие из этих видов имеют большее или меньшее количество общих признаков, которые служат для установления последовательных и все более и более обширных делений. Натуралисты научились методически классифицировать индивидов по их определенным, легко замечаемым признакам — единственное средство ориентироваться в бесчисленном множестве различных существ. Эти методы являются родом реального языка, где каждый предмет обозна-

чен некоторыми из его наиболее постоянных свойств и посредством которого, зная эти свойства, можно находить в условном языке название предмета. Эти самые языки, когда они хорошо составлены, показывают еще, каковы для каждого класса естественных существ действительно существенные свойства, наличие которых влечет за собой более или менее полное сходство в их остальных свойствах.

Если высокомерие, которое увеличивает в глазах людей объекты специального исследования и трудно усваиваемых знаний, приписывало иногда этим методам преувеличенное значение и принимало за самое науку то, что было только в некотором роде словарем и грамматикой ее реального языка, то часто также вследствие преувеличения обратного смысла ложная философия слишком низводила эти самые методы, смешивая их с произвольными номенклатурами, так же как и с пустыми и тяжелыми компиляциями.

Химический анализ веществ, доставляемых тремя великими царствами природы, описание их внешней формы, изложение их физических и прочих свойств, история развития организованных тел, животных и растений, их питания, их размножения, подробности их организации, анатомия их различных частей, функции каждой из них, история образа жизни животных, их промыслов для доставления себе пищи, убежища, жилища, описание приемов, к которым они прибегают, преследуя свою добычу или спасаясь от своих врагов, общества, образующиеся между ними и состоящие из семьи или вида. Эта масса истин, обнаруживающихся при обозрении неизмеримой цепи существ, отношения между

ее последовательными звеньями от грубой материи к самой низкой ступени организации, от организованной частицы до той твари, у которой замечаются первые признаки чувствительности и самопроизвольного движения, наконец, от последней до человека, отношения всех существ к человеку как относительно его потребностей, так и в сходных чертах, приближающих его к ним, или в различиях, которые его от них отделяют,—такова картина, которую представляет нам теперь естественная история.

Физический человек является сам предметом отдельной науки—а и а т о м и и, которая, если взять ее в широком смысле, включена в физиологию. Эта наука, развитие которой замедлялось вследствие суеверного уважения к мертвым, воспользовалась общим ослаблением предрассудков и удачно противопоставила последним интерес сохранения трупов, обещавший ей помочь влиятельных людей. Ее прогресс был таков, что она кажется как бы исчерпанной, ожидющей более совершенных инструментов и новых методов, занятой почти исключительно отысканием путем сравнения частей животных и человека органов, общих различным видам, форм, в которые выливаются аналогичные функции последних, истин, которые прямое наблюдение человека теперь как будто отвергает. Почти все, что глаз наблюдателя, вооруженный микроскопом, мог обнаружить, уже открыто. Анатомия, повидимому, нуждается в помощи опытов, столь полезных для успехов других наук, но природа предмета, подлежащего ее исследованию, не позволяет ей пользоваться этим средством, необходимым теперь для ее совершенствования.

Циркуляция крови была давно известна, но расположение сосудов, несящих влагу, которая, смешиваясь с кровью, должна возмещать ее потери, но существование желудочного сока, приводящего пищу в состояние разложения, необходимое для приготовления части, способной ассимилироваться с живыми жидкостями, с организованной материей, но изменения, которые испытывают различные части, различные органы как в периоде, отделяющем зачатие от рождения, так и начиная с этого момента в различных периодах жизни, но отличие частей, наделенных чувствительностью или раздражительностью—свойство, открытое Галлером и общее почти всем органическим существам,—вот то, что физиология сумела открыть в эту блестящую эпоху, опираясь на данные, добывшие наблюдениями; и столько важных истин обязано своей известностью этим механическим, химическим и органическим объяснениям, которые, следя поочередно друг за другом, обременяли науку гипотезами, гибельными для ее прогресса, опасными, когда их применение распространяется на медицину.

К картине наук должна присоединиться картина искусств, которые, опираясь на науки, пошли более верным путем и разбили цепи, которыми рутина до тех пор их сковывала.

Мы покажем, какое влияние прогресс механики, астрономии, оптики и искусства измерять время оказал на искусства строить корабли, приводить их в движение и управлять ими. Мы объясним, как увеличение числа наблюдателей, большая ловкость мореплавателя, более строгая точность в астрономических определениях положений и в топографических ме-

тодах позволили, наконец, узнать нашу планету, еще почти неизвестную к концу последнего века. Мы покажем, насколько механические искусства в собственном смысле обязаны своим усовершенствованием производству инструментов, машин, постройке мастерских и последние своим развитием обязаны прогрессу рациональной механики и физики. Мы выявим то, чем эти самые искусства обязаны науке, давшей возможность употреблять уже известные двигатели с меньшими издержками и меньшей потерей или изобретать новые двигатели.

Мы увидим, что архитектура черпает в науке о равновесии и теории жидкостей средства придать сводам более удобные и менее дорогие формы, не рискуя нарушить прочность построек, средства строить заграждения для вод, более точно вычисленные, направлять их течение, использовать их в каналах с большим искусством и большим успехом.

Мы увидим также, что химия обогащается новыми процессами, что старые методы очищаются, упрощаются, освобождаясь от всего того, чем обременила их рутина, от бесполезных или вредных веществ, от напрасных или несовершенных практических приемов, между тем как в то же самое время изобретаются средства предупреждать некоторые опасности, часто ужасные, которым подвергаются рабочие, занятые в производстве химических продуктов, и что, таким образом, химия, доставляя больше наслаждения, больше богатств, не заставляет уже покупать их ценою стольких прискорбных жертв и стольких угрызений совести.

Между тем, химия, ботаника, естественная история распространяли плодотворный свет на сельское хозяй-

ство, на культуру растений, предназначенных удовлетворять наши различные потребности, на искусство кормить, размножать и сохранять домашних животных, улучшать породы и продукты, на способы приготовления, сохранения плодов земли или съестных припасов, доставляемых нам животными.

Хирургия и фармация становятся почти новыми искусствами с того момента, когда они начали черпать в анатомии и химии более ясные, более верные указания.

Медицина, которая на практике должна рассматриваться как искусство, освобождается, по крайней мере, от своих ложных теорий, от своего педантического жаргона, от своей мертвящей рутины, от своего рабского подчинения авторитету людей, факультетским учениям; она научается верить только опыту. Она умножает свои средства; она умеет лучше их сочетать и ими пользоваться; и если ее успехи в некоторых частях носят характер отрицательный, если они выражаются в уничтожении опасных практических приемов, вредных предрассудков, то новые методы изучения химической медицины и сочетания наблюдений предвещают более реальный, более обширный прогресс.

Мы в особенности постараемся проследить движение гения наук, который, то, исходя от абстрактной и глубокой теории до ученых и тонких применений, упрощая затем свои средства, соразмеряя их с потребностями, в конечном итоге распространяет свое благотворное влияние на наиболее простые практические приложения, то, пробужденный потребностями этой самой практики, ищет

в наиболее возвышенных спекуляциях источников, недоступных при обыкновенном состоянии знаний.

Мы покажем, что декламации о бесполезности теорий даже для самых простых ремесел доказывали всегда только невежество фразеров. Что отнюдь не глубокомысленности этих теорий, а, напротив, их несовершенству нужно приписать бесполезность или гибельные последствия стольких неудачных применений.

Эти наблюдения приведут нас к той общей истине, что во всех искусствах теоретические принципы по необходимости видоизменены на практике; что существуют действительно неизбежные неточности, влияние которых нужно стараться сделать нечувствительным, не предаваясь химерической надежде их предупреждать; что большое количество данных, относящихся к потребностям, средствам, времени, издержкам, по необходимости преиберегаемых в теории, должны быть прияты во внимание при непосредственном и действительном практическом применении этой теории; что, наконец, вводя эти данные с ловкостью, являющейся настоящим гением практики, можно одновременно расширить тесные границы, где предрассудки против теории угрожают задержать искусства, и предупредить ошибки, которые могли бы иметь место при неумелом приложении теории.

Науки, разделившиеся для успешного своего распространения, должны были между собой сближаться, между ними должны были образоваться точки со-прикосновения.

Изложение прогресса каждой науки было бы достаточно, чтобы показать, какова была для многих

польза непосредственного приложения вычисления, насколько последнее могло употребляться почти во всех науках, чтобы придать опытам и наблюдениям большие точности; это изложение могло бы показать то, чем науки обязаны механике, давшей им более совершенные, более верные инструменты; насколько изобретение микроскопов и метеорологических приборов способствовало совершенствованию естественной истории; оно показало бы, чем эта наука обязана химии, которая одна только могла привести к более глубокому познанию рассматриваемых ею предметов, открывая ей наиболее скрытую природу последних, их наиболее существенные различия, показывая ей соединения и элементы, между тем как естественная история доставляла химии столько продуктов, которые необходимо было отделять и сортировать, столько операций, подлежащих исполнению, столько сочетаний, образованных природой, действительные элементы которых нужно было выделять и иногда открывать тайну этих соединений или даже искусственно воспроизвести их; наконец, оно показало бы, какую взаимную помощь оказывали друг другу физика и химия и что анатомия уже почерпнула или из естественной истории, или из этих наук.

Но мы изложили бы лишь самую незначительную часть выгод, уже реализованных благодаря взаимопомощи наук, а равно выгод, возможных отсюда в будущем. Многие геометры предложили общие методы, позволяющие на основании наблюдений находить эмпирические законы явлений, методы, которые распространяются на все науки, так как они могут равным образом привести к открытию как закона

последовательных значений какой-либо величины для ряда моментов или положений, так и закона, согласно которому распределяются или различные свойства, или различные значения подобного качества между данным количеством предметов.

Уже некоторые применения доказали, что науку о сочетаниях можно успешно употреблять для расположения наблюдений в порядке, позволяющем улавливать с большей легкостью отношения, результаты и целое.

Применения теории вероятностей показывают, насколько эти методы могут способствовать прогрессу других наук, здесь определяя правдоподобие необыкновенных фактов и научая судить, должны ли они отбрасываться или, напротив, заслуживают быть проверенными, там вычисляя вероятность постоянного повторения этих фактов, которые наблюдались в практике искусства и которые сами не связаны ни с каким порядком, рассматриваемым уже как общий закон; таково, например, в медицине спасительное действие некоторых лекарств, успех некоторых предохранительных средств. Эти применения показывают нам еще, какова вероятность того, что совокупность явлений обусловлена волей разумного существа, того, что зависит от других явлений, существующих с ним или предшествовавших ему, и того, что должно быть приписано необходимой и неизвестной причине, называемой случаем,—слово, истинный смысл которого можно понять только посредством изучения этого вычисления.

Эти применения равным образом научили распознавать различные степени достоверности, достигнуть которых мы можем надеяться; распознавать правдо-

подобие, согласно которому мы можем принять мнение, сделать его основой наших рассуждений, не нарушая прав разума и правил нашего поведения, не погрешая против мудрости или не оскорбляя чувства справедливости. Они показывают, каковы преимущества или недостатки различных форм выборов, всевозможных способов решений, принимаемых большинством голосов; различные степени вероятности, которые могут здесь иметь место; ту степень вероятности, которую общественный интерес должен требовать сообразно природе каждого вопроса; они показывают средства как для того, чтобы почти наверняка получить эту степень вероятности, когда решение не необходимо или когда недостатки двух возможных решений не равны, определяя, что ни одно из этих решений не может быть законным, пока оно остается ниже необходимой вероятности, так и для того, чтобы заранее быть уверенным в получении этой самой вероятности, когда, напротив, решение необходимо и когда самое слабое правдоподобие достаточно, чтобы с ним сообразоваться.

К числу этих применений можно еще добавить исследование вероятности фактов, необходимое для того, кто своего мнения не может обосновать на своих собственных наблюдениях, той вероятности, которая вытекает или из авторитета свидетельств, или из соединения этих фактов с другими, полученными непосредственными наблюдениями.

Исследования продолжительности жизни людей и влияния, которое оказывает на эту продолжительность различие полов, температур, климата, профессий, форм правления, привычек; исследования смертности, обусловленной различными болезнями;

исследования колебаний народонаселения и распространенности действия разных причин, вызывающих эти колебания, а также способа распределения этого действия в каждой стране сообразно возрастам, полам, занятиям,—насколько все эти исследования могли бы быть полезны для изучения физики человека, для медицины, для общественной экономии!

Как плодотворно общественная экономия могла бы использовать эти самые вычисления для учреждения пожизненных доходов, возрастающей пожизненной ренты, сберегательных касс, фондов помощи бедным, страховых обществ всякого рода!

Разве не является также необходимым применение вычислений к той части общественной экономии, которая обнимает теорию мер, монет, банков и финансовых операций, наконец, теорию налогов, их распределение, установленное законом, от которого столь часто уклоняется их действительная раскладка, их влияний на все части социальной системы?

Сколько важных вопросов этой самой науки могло быть правильно разрешено лишь при помощи знаний, приобретенных в области естественной истории, землемерия, физики растений, механических или химических искусств?

Одним словом, таков был общий прогресс наук, и нет, так сказать, ни одной, которую можно было бы обнять всецело в ее принципах, в ее подробностях, не будучи вынужденным прибегать к помощи всех других.

Представляя картину как новых истин, которыми обогатилась каждая наука, так и того, чем каждая обязана применению теорий или методов, которые, казалось, скорее приспособлены к знаниям

другого порядка, мы проследим, каковы сущность и предел истин, к которым наблюдение, опыт, размышление могут нас привести в каждой науке. Мы рассмотрим, равным образом, и то, в чем, собственно, заключается для каждой из них дар изобретения—эта первая способность человеческого ума, названная гением; посредством каких операций разум может достигнуть намеченных им открытий или иногда натолкнуться на те, которых он не искал, которых он не мог даже предвидеть. Мы покажем, каким образом методы, приводящие нас к открытиям, могут исчерпаться, так что наука вынуждена была бы некоторым образом остановиться, если бы новые методы не снабдили гения новым орудием или облегчили ему пользование теми, которые он может употреблять теперь, лишь затрачивая слишком много времени и трудов.

Если бы мы ограничились перечислением выгод, которые были извлечены из непосредственного пользования науками или из применения их к искусствам как для блага отдельных людей, так и для благосостояния наций, нам удалось бы показать лишь незначительную часть их благодеяний. Наиболее важное, может быть, заключается в том, что они разрушили предрассудки и как бы изошли человекский ум, вынужденный ступать по ложным направлениям, которые приводили его к нелепым верованиям, передаваемым каждому поколению в его младенчестве вместе с ужасами суеверия и страхом тирании.

Все заблуждения в политике и морали покоятся на философских заблуждениях, которые в свою очередь связаны с заблуждениями в области физики. Нет ни одной религиозной системы, ни одной сверхъ-

естественной нелепости, которые не основывались бы на незнании законов природы. Изобретатели и защитники этих нелепостей не могли предвидеть последовательного совершенствования человеческого разума. Убежденные, что люди знали в их время все то, что они могли когда-нибудь узнать, и будут всегда верить в то, что тогда составляло предмет их веры, они самонадеянно обосновывали свои бредни на общих воззрениях своей страны и своего века.

Прогресс физических знаний тем более гибелен для этих заблуждений, что они разрушают их, не нападая на них прямо и подвергая тех, кто упрямо их защищает, унижающей насмешке в невежестве.

В то же время привычка справедливо рассуждать о предметах этих наук, точные идеи, которые дают их методы, средства познать или доказать истину должны, естественно, привести к сравнению чувства, заставляющего нас соглашаться на воззрения, основанные на реальных мотивах достоверности, с тем, которое привязывает нас к предрассудкам или заставляет нас отступать перед авторитетом; и это сравнение достаточно, чтобы винуть сомнение к этим последним воззрениям, чтобы дать понять, что в них не верят даже тогда, когда об этом громко заявляют, когда их исповедуют с наиболее совершенной искренностью. А раз этот секрет открыт, их разрушение становится быстрым и верным.

Наконец, это развитие физических наук, которое страсти и интерес не могут нарушить, где происхождение, профессия, общественное положение не дают права судить о том, чего мы не в состоянии понимать; это движение вперед, более верное, не могло бы быть замечено, если бы просвещенные люди не стремились

в других науках беспрестанно к нему приближаться; оно им доставляло для каждого шага образец, которому они должны были следовать, согласно которому они могли судить о своих собственных усилиях, распознавать ложные пути, где они могли бы запутаться, предохранять себя от пирронизма, как и от легковерия, от слепой недоверчивости и от слишком безусловного подчинения даже научному или признанному авторитету.

Без сомнения, метафизический анализ приводил к тем же результатам; но эта наука давала только абстрактные правила, и здесь эти самые абстрактные принципы, примененные на практике, были освещены примером и укреплены успехом.

До этой эпохи науки были неотчуждаемым достоянием некоторых людей; они уже стали общедоступными, и приближается момент, когда их элементы, их принципы, их простейшие методы станут истинно народными. Именно тогда их приложение к искусствам, их влияние на общую справедливость умов будут поистине общеполезны.

Мы проследим прогресс европейских наций в области образования как начального, так и высшего; прогресс до сих пор слабый, если рассматривать только философскую систему этого образования, которая почти всюду проникнута еще схоластическими предрассудками, но чрезвычайно быстрый, если принять во внимание объем и природу предметов обучения, которое, обнимая теперь почти только реальные знания, заключает в себе элементы почти всех наук, между тем как люди всех возрастов находят в словарях, конспектах, газетах необходимые им знания, хотя бы они были не всегда достаточно точны.

Мы исследуем вопрос о полезности присоединения устного преподавания наук к образованию, получаемому непосредственно из книг и путем изучения; обусловлена ли какая-либо выгода тем обстоятельством, что компилятивный труд стал настоящим ремеслом и средством существования, обстоятельством, благодаря которому умножилось число посредственных произведений, но в то же время увеличилось для мало образованных людей средства приобретать общие знания. Мы покажем, каково было влияние на прогресс человеческого разума ученых обществ, являющихся той оградой, которую еще долго полезно будет противопоставлять шарлатанству и ложной учености. Наконец, мы начертаем историю поощрений, данных правительствами прогрессу человеческого разума, и препятствий, созданных ими на его пути, часто в той же стране и в ту же эпоху; мы покажем, какими предрассудками или какими принципами макиавелизма они руководствовались, задерживая движение умов к истине, какими корыстными политическими целями или даже преследующими общественное благо руководились они, когда, казалось, они, напротив, хотели ускорить его и покровительствовать ему.

Картина изящных искусств представляет не менее блестящие результаты. Музыка стала в некотором роде новым искусством именно в то время, когда наука о сочетаниях и применение вычисления к вибрациям звучащих тел и колебаниям воздуха осветили ее теорию. Живопись, которая уже перешла из Италии во Фландрию, Испанию, Францию, возвысилась в последней стране до той самой степени совершенства, на которую она поднялась в Италии в прошедшую эпоху, и расцвела там еще пышнее,

чем в самой Италии. Искусство наших художников не уступает искусству Рафаэля и Каррара. Все их приемы, сохранившиеся в школах, не только не забыты, но еще более распространены. Однако протекло слишком много времени, не давшего равного им гения, чтобы эту долгую бесплодность можно было приписать только случаю. Это не потому, что средства искусства исчерпаны, хотя достигнуть большего успеха было бы действительно трудно. Это также не потому, что природа не наделила нас органами, столь же совершенными, как у итальянцев XVI века, но единственно изменениям в политике и нравах нужно приписать не упадок искусства, но слабость его произведений.

Изящная литература, разрабатывавшаяся в Италии с меньшим успехом, не вырождаясь однако, совершила на французском языке прогресс, доставивший ему честь стать в некотором роде языком всеевропейским.

Трагедия в руках Корнеля, Расина, Вольтера, последовательно развиваясь, достигла совершенства, до тех пор неизвестного. Комедия благодаря Мольеру была быстро возведена на высоту, на которую она ни у одной нации не могла еще подняться.

В Англии с начала этой эпохи и в более близкое к нам время в Германии язык совершенствовался. Поэзия и проза были подчинены, но с меньшей покорностью, чем во Франции, тем всеобщим правилам разума и природы, которые должны ими управлять. Они одинаково истинны для всех языков, для всех народов, хотя до сих пор лишь небольшое число из них могло их познать и возвыситься до того справедливого и верного вкуса, являющегося чувственным

выражением этих самых правил, которыми проникнуты произведения Софокла и Виргилия, как и сочинения Попа или Вольтера. Этот вкус учил греков, римлян, как и французов, поражаться теми же красотами и возмущаться теми же уродствами.

Мы покажем то, что в каждой нации поддерживало или замедляло прогресс этих искусств, в силу каких причин различные виды поэзии или прозы достигли в разных странах столь неравного совершенства и каким образом эти всеобщие правила могут, не нарушая даже своих основных принципов, видоизменяться в зависимости от нравов, возврений народов, которые должны пользоваться произведениями этих искусств, и сообразно употреблению, которому предназначены ими различные виды. Так, например, трагедия, рассказываемая каждый день в небольшом зале при ограниченном количестве зрителей, не может пользоваться теми же самыми практическими приемами, что и трагедия, распеваемая в громадном театре, в дни торжественных праздников, в присутствии всего народа. Мы попытаемся доказать, что правила вкуса имеют ту же общность, то же постоянство, но способны к такому же роду видоизменений, как и другие законы вселенной, моральные и физические, когда их нужно применять непосредственно на практике к общеупотребительному искусству.

Мы покажем, как печать, умножая, распространяя произведения, даже предназначенные к чтению или представлению публично, сообщала их количеству читателей, несравненно большему, чем число слушателей; так как почти все решения, принятые в многочисленных собраниях, определялись образованием, полученным их членами из чтения, то в силу этого

между правилами искусства убеждать у древних и у новейших народов должны были образоваться различия, аналогичные разнице между эффектом, который искусство должно производить, и средством, которым оно для этого пользуется. Мы покажем, как, наконец, на правила искусства должна была также повлиять создавшаяся благодаря изобретению книгоиздания возможность пользоваться сочинениями, содержащими подробные описания, между тем как у древних чтение ограничивалось книгами по истории или философии.

Прогресс философии и наук расширил и благоприятствовал успехам изящной литературы, а последняя служила для популяризации наук и философии. Они оказывали друг другу взаимную поддержку, невзирая на усилия невежества и глупости, стремившиеся их разъединить и посеять между ними вражду. Эрудиция, которую подчинение человеческому авторитету и уважение к предметам древности, казалось, обрекли на роль защитницы вредных предрассудков, тем не менее помогла их разрушить, ибо наука и философия снабдили ее факелом более здоровой критики. Она уже умела взвешивать авторитеты, сравнивать их между собой, и, в конце концов, подчинила последние трибуналу разума. Она отбрасывала чудеса, нелепые рассказы, факты, противоречащие правдоподобию, критикуя свидетельства, на которые они опирались; впоследствии она сумела их отбросить вопреки силе этих свидетельств, отступая только перед тем, что могло бы устранить физическое или моральное неправдоподобие необыкновенных фактов.

Итак, все интеллектуальные занятия людей, как бы

они ни различались по своему предмету, методу или необходимым для них умственным способностям, содействовали прогрессу человеческого разума. Вся система трудов людей, в самом деле, подобна хорошо составленному произведению, части которого, методически разделенные, должны, тем не менее, быть тесно связаны, образовать одно целое и стремиться к одной цели.

Бросая теперь общий взгляд на человеческий род, мы покажем, что открытие истинных методов во всех науках, обширность заключающихся в них теорий, применение их ко всем явлениям природы, ко всем потребностям людей, связь, установившаяся между ними, многочисленность контингента лиц, разрабатывающих их, наконец, умножение печатных станков служат достаточной порукой, что отныне ни одна наука не может спуститься ниже той ступени, на которую она возведена. Мы дадим возможность заметить, что принципы философии, правила свободы, сознание истинных прав человека и его действительных интересов распространены среди слишком большого числа наций, руководят в каждой из них воззрениями слишком большого количества просвещенных людей, чтобы можно было опасаться, что они когда-нибудь будут преданы забвению.

И какое опасение может еще оставаться, видя, что два наиболее распространенных языка суть также языки двух народов, пользующихся наиболее полной свободой, наилучше познавших ее принципы; так что никакой союз тиранов, никакая из возможных политических комбинаций не может помешать громко защищать на этих двух языках права разума, как и права свободы.

Но если все нам говорит за то, что человеческий род не должен более впасть в свое древнее варварство, если все должно нас укрепить против той малодушной и извращенной системы, которая обрекает его на вечные колебания между истиной и заблуждением, свободой и рабством, мы в то же время видим, что свет знаний освещает еще лишь небольшую часть земного шара и что количество людей, обладающих действительными знаниями, меркнет перед массой, коснеющей в предрассудках и невежестве. Мы видим обширные страны, изнывающие в рабстве, где народы унижены пороками цивилизации, замедляющими ее движение, и прозябают еще в младенчестве своих первых эпох. Мы видим, что труды этих последних лет много сделали для прогресса человеческого разума, но мало для совершенства человеческого рода; много для славы человека, кое-что для его свободы, почти ничего еще для его счастья. В некоторых пунктах наши глаза поражены ярким светом, но густой мрак покрывает еще необозримый горизонт. Душа философа с утешением отдыхает на немногих предметах, но зрелище тупоумия, рабства, сумасбродства, варварства еще чаще ее удручет, и друг человечества может вкусить удовольствие без помех, только предаваясь сладким надеждам на будущее.

Таковы предметы, которые должны войти в историческую картину прогресса человеческого разума. Представляя их, мы в особенности постараемся показать влияние этого прогресса на воззрения, на благосостояние общей массы различных наций в разных эпохах их политического существования; какие истины они знали, от каких заблуждений они были освобождены, какие добродетельные привычки они

переняли, какое новое развитие их способностей установило более благоприятную пропорцию между этими способностями и их потребностями; и с противоположной точки зрения, какими предрассудками они порабощались, какие религиозные или политические суеверия были у них введены, какими пороками невежество или деспотизм разверзали их, каким бедствием подвергла их жестокость или их собственный упадок.

До сих пор политическая история, как и история философии и наук, была только историей нескольких людей; то, что действительно образует человеческий род,—масса семейств, почти всецело существующих своим трудом, была забыта; и даже среди тех, кто, посвящая себя общественной деятельности, заботится не о себе самом, но обо всем обществе, чья задача обучать, управлять, защищать и помогать другим людям,—даже в этом классе людей только главари останавливали на себе внимание историков.

Для истории отдельных лиц достаточно собрать факты, но история массы людей может опираться только на наблюдения; чтобы их выбрать, чтобы уловить их существенные черты, нужны уже знания и почти столько же философского образования, как для того, чтобы их умело использовать.

Сверх того, эти наблюдения имеют здесь предметом обыкновенные вещи, которые бросаются всем в глаза, которые каждый может, если хочет, сам познать. Поэтому почти все собранные наблюдения сделаны путешественниками, иностранцами, ибо эти вещи, столь обыкновенные для местных людей, для путешественников становятся предметом любопытства. Но, к сожалению, эти путешественники—почти всегда

неточные наблюдатели, они рассматривают вещи с слишком большой поспешностью, через призму предрассудков своей страны и часто глазами людей обезжаемой ими местности. Они справляются у тех, с кем случайно встретились, и интерес, партийный дух, национальная гордость или юмор почти всегда диктуют ответ.

Таким образом, не только недобросовестности историков—в чем справедливо упрекали авторов истории монархий—нужно приписать скучность памятников, по которым можно набросать эту наиболее важную часть истории людей.

Их можно только несовершенно дополнять знанием законов, практических принципов правительств и общественной экономии или знакомством с религиями и общими предрассудками.

В самом деле, закон писаный и действующий, принципы тех, кто управляет, и формы, в которые выливается их действие в умах управляемых, учреждение по идее своих основателей и учреждение функционирующее, религия книжная и народная, кажущаяся всеобщность предрассудка и действительное его признание—могут так различаться, что следствия совершенно перестают соответствовать этим известным общественным причинам.

Именно на эту часть истории человеческого рода, наиболее темную, наиболее пренебрегаемую и для которой памятники доставляют нам так мало материалов, должно быть обращено особенное внимание. Когда здесь дается отчет об открытии, о важной теории, о новой системе законов, о политической революции, то имеется в виду определить, какие следствия должны были отсюда вытекать для наиболее

многочисленной части каждого общества, ибо это является истинным предметом философии, так как все промежуточные действия этих самых причин могут быть рассматриваемы только как средства повлиять в конечном итоге на эту часть, действительно составляющую массу человеческого рода.

Именно, достигнув этой последней ступени лестницы, наблюдение прошедших событий, как и знания, приобретенные умозаключением, становятся поистине полезными. Именно, дойдя до этого предела, люди могут оценить свои действительные права на славу или испытывать известное удовольствие от прогресса своего разума, только там можно судить о действительном совершенстве человеческого рода.

Идея относить все к этой последней точке продиктована справедливостью и разумом; но были попытки считать ее химерической, между тем, она отнюдь таковой не является; нам достаточно доказать это здесь двумя поражающими примерами.

Обладание наиболее простыми предметами потребления, удовлетворяющими с некоторым избытком потребности человека, руки которого делают плодородной нашу почву, обусловлено долгими усилиями промышленности, благоприятствуемой светом наук; и отсюда это обладание связано историей с победой при Саламине, ибо, не будь ее, мрак восточного деспотизма грозил покрыть всю землю. Матрос, которого верное исчисление долготы места предохраняет от бури, обязан жизнью теории, которая в цепи истин восходит до открытых, сделанных в школе Платона и остававшихся в течение двадцати веков совершенно бесполезными.



## ДЕСЯТАЯ ЭПОХА

---

### О БУДУЩЕМ ПРОГРЕССЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

**E**сли человек может с почти полной уверенностью предсказать явления, законы которых он знает, если даже тогда, когда они ему неизвестны, он может на основании опыта прошедшего предвидеть с большой вероятностью события будущего, то зачем считать химерическим предприятием желание начертать с некоторой правдоподобностью картину будущих судеб человеческого рода по результатам его истории? Единственным фундаментом веры в естественных науках является идея, что общие законы,

известные или неизвестные, регулирующие явления вселенной, необходимы и постоянны; и на каком основании этот принцип был бы менее верным для развития интеллектуальных и моральных способностей человека, чем для других операций природы? Наконец, так как воззрения, образованные по опыту прошлого относительно вещей того же порядка, являются единственным правилом поведения наиболее мудрых людей, почему запрещать философу укрепить свои догадки на том же основании, лишь бы только он не приписывал им достоверности большей, чем та, которая может получиться в зависимости от числа, постоянства и точности наблюдений?

Наши надежды на улучшение состояния человеческого рода в будущем могут быть сведены к трем важным положениям: уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства между различными классами того же народа, наконец, действительное совершенствование человека. Должны ли все народы когда-нибудь приблизиться к состоянию цивилизации, которого достигли нации наиболее просвещенные, наиболее свободные, наиболее освобожденные от предрассудков, как французы и англо-американцы? Это громадное расстояние, отделяющее последних от порабощенности наций, подчиненных королям, от варварства африканских племен, от невежества диких, должно ли оно постепенно исчезать?

Есть ли на земном шаре страны, природа которых осудила жителей не наслаждаться никакой свободой, никогда не пользоваться своим разумом?

Это различие знаний, средств или богатств, наблюдаемое до настоящего времени между различными классами каждого из цивилизованных народов, это не-

равенство, которое изначальный прогресс общества увеличил и, так сказать, создал, обусловлено ли оно самой цивилизацией или современными несовершенствами социального искусства? Не должно ли оно беспрестанно ослабляться, чтобы уступить место тому фактическому равенству—последняя цель социального искусства,—которое, уменьшая даже следствия естественного различия способностей, оставляет только неравенство, полезное интересу всех, ибо оно будет благоприятствовать прогрессу цивилизации, образования, промышленности и не повлечет за собой ни зависимости, ни унижения, ни обеднения? Одним словом, приблизятся ли люди к тому состоянию, когда все будут обладать знаниями, необходимыми для того, чтобы вести себя в своих повседневных делах согласно своему собственному разуму и ограничивать его от предрассудков; чтобы хорошо знать свои права и осуществлять их согласно своему разумению и совести, когда все могут благодаря развитию своих способностей располагать верными средствами для удовлетворения своих потребностей; когда, наконец, тупоумие и нищета будут только случайностями, отнюдь не обыкновенным состоянием части общества?

Наконец, должен ли человеческий род улучшаться благодаря новым открытиям в науках и искусствах и—в силу необходимого следствия—в средствах создания частного благосостояния и общего благополучия, или благодаря развитию моральных принципов поведения, или, наконец, в силу действительного совершенства интеллектуальных, моральных и физических способностей, которое может быть обусловлено или совершенством инструментов, увеличивающих интенсивность и направляющих употреб-

ление этих способностей, или даже совершенством естественной организации человека?

Чтобы ответить на эти три вопроса, мы обратимся к опыту прошлого, к наблюдению прогресса, который науки и цивилизация совершили до сих пор, к анализу поступательного движения человеческого разума и развития его способностей, где мы найдем наиболее сильные мотивы<sup>4</sup> побуждающие верить, что природа не установила никакого предела нашим надеждам.

Если бросим взгляд на современное состояние земного шара, мы прежде всего увидим, что в Европе принципы французской конституции уже усвоены всеми просвещенными людьми. Мы увидим, что они здесь слишком распространены и слишком громко исповедуются, чтобы усилия тиранов и священников могли помешать им проникать постепенно до хижин их рабов; и эти принципы скоро пробудят здесь остаток здравого смысла и то глухое негодование, которое привычка унижения и страх не могут заглушить в душе угнетенных.

Обозревая затем различные нации, мы увидим в каждой, какие частные препятствия мешают этой революции или какие обстоятельства ей благоприятствуют; мы различим те, среди которых она должна быть проведена мирно благодаря мудрости, может быть, уже запоздалой, своих правительств, и те, где, став более жестокой вследствие их сопротивления, она должна их самих увлечь в своих ужасных и быстрых движениях.

Можно ли сомневаться в том, что мудрость или бес смысленная рознь европейских наций, благоприятствуя медленным, но верным действиям про-

гресса их колоний, не создадут скоро независимости нового мира? И тогда европейское население, быстро возрастаая на этой громадной территории, не должно ли оно просветить или заставить удалиться даже без завоевания дикие народы, занимающие еще там обширные края?

Просмотрите историю наших предприятий, наших учреждений в Африке или Азии, и вы увидите, что наши торговые монополии, наши предательства, наше кровное презрение к людям другого цвета кожи или другой веры, наглость наших захватов, сумасбродный прозелитизм или интриги наших священников заглушают то чувство уважения и благосклонности, которое превосходство наших знаний и выгоды нашей торговли вначале к нам внушали.

Но, без сомнения, приближается момент, когда, перестав показывать им только развратителей и тиранов, мы станем для них полезными советниками или великодушными освободителями.

Культура свекловицы, применяясь на необъятном африканском континенте, упразднит позорный грабеж, который развращает и опустошает Африку вот уже два века.

Уже в Великобритании некоторые друзья человечества дали тому пример; и если их правительство, проникнутое макиавеллизмом, вынужденное уважать общественное мнение, не посмело им препятствовать, отчего нельзя надеяться, что оно само пойдет по этому пути, когда после реформы рабской и продажной конституции оно станет достойным гуманной и великодушной нации? Разве Франция не поспешит подражать этим предприятиям, продиктованным равным образом и человеколюбием и хорошо понятым

интересом Европы? Бакалейные товары ввозятся на французские острова, в Гвиану, в некоторые английские владения, и скоро мы увидим падение этой монополии, которую голландцы поддерживали столькими изменениями, притеснениями и преступлениями. Европейские нации поймут, наконец, что привилегированные компании являются только новым орудием тиrания в руках их правительства.

Тогда европейцы, ограничиваясь свободной торговлей, имея слишком ясное представление о своих собственных правах, чтобы пользоваться чужими, будут уважать эту независимость, которую они с такой дерзостью до сих пор нарушали. Их учреждения, вместо того чтобы наполняться ставленниками правительства, которые стремятся использовать свое место или привилегию, накопляя посредством грабежа и вероломства богатства, дабы, возвратившись в Европу, купить себе почести и титулы, будут привлекать людей искусных, трудолюбивых, ищущих в этих счастливых странах достатка, которого они были лишены на родине. Свобода их там удержит, честолюбие исчезнет, и эти скопища грабителей станут колониями граждан, которые распространят в Африке и Азии принципы и пример свободы, знания и разум Европы. Место монахов, распространявших среди этих народов только позорные суеверия и возмущавших их претензиями на новое господство, займут люди, заботящиеся о распространении среди них истин, полезных для их счастья, о развитии у них сознания своих интересов, как и своих прав. Рвение к истине тоже страсть, и она направит свои усилия в эти отдаленные страны, когда вблизи ей не придется больше ни бороться с грубыми

предрассудками, ни рассеинать позорные заблуждения.

В этих обширных странах она найдет: здесь—многочисленные народы, которые, повидимому, ждут того, чтобы мы снабдили их средствами просвещения, и жаждут встретить в европейцах братьев, чтобы стать их друзьями и учениками; там—нации, поробленные духовными деспотами или тупыми завоевателями, которые вот уже сколько веков зовут освободителей; в других местах—почти дикие племена, которые вследствие суровости климата своей страны лишены благ цивилизации, между тем как эта самая суровость отталкивает равным образом и тех, кто желал бы просветить их о преимуществах цивилизации, и полчища завоевателей, не знающих другого закона кроме силы, другого ремесла кроме грабежа. Прогресс народов этих двух последних категорий будет более медленным, будет сопровождаться большими бурями; может быть даже, что, все более уменьшаясь численно по мере наступления цивилизованных наций, они, в конце концов, незаметно исчезнут или растворятся в среде последних.

Мы покажем, каким образом эти события будут неминуемым следствием не только прогресса Европы, но даже свободы торговли в Африке и Азии, в которой французская и североамериканская республики действительно заинтересованы и которую они имеют возможность осуществить; мы покажем, что они должны также неизбежно порождаться или новой мудростью европейских наций, или их упрямым соблюдением меркантильных предрассудков.

Мы покажем, что одно только стечние обстоятельств, новое нашествие татар, могло бы помешать

этой революции, и что отныне ничто подобное невозможno. Между тем, все подготавляет быстрое падение великих восточных религий, которые, будучи почти всюду предоставлены народу, разделяя унижение своих исполнителей и рассматриваясь уже во многих странах сильными элементами населения только как политические изобретения, не грозят больше удержать человеческий разум в безнадежном рабстве и в вечном младенчестве.

Движение отсталых народов было бы более быстрым и более верным, чем наше, ибо они получили бы у нас готовым то, что мы вынуждены были открывать, и для усвоения этих простых истин и ясных методов, которые нам удалось познать лишь после долгих заблуждений, им достаточно было бы уметь улавливать их сущность и доказательства в наших речах и книгах. Если прогресс греков погиб для других наций, то в этом нужно видеть отсутствие сообщения между народами и тираническое господство римлян. Но когда взаимные потребности сближат всех людей, нации наиболее могущественные возведут в ранг своих политических принципов равенство между обществами, подобно равенству между отдельными людьми, и уважение к независимости слабых государств, как гуманное отношение к невежеству и нищете; когда правила, имеющие целью подавить силу человеческих способностей, будут заменены такими, которые будут благоприятствовать их проявлению и энергии, возможно ли будет тогда бояться, что на земном шаре останутся пространства, недоступные просвещению, где надменность деспотизма могла бы противопоставить истине долго непреодолимые преграды!

Настанет, таким образом, момент, когда солнце

будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не признающими другого господина кроме своего разума; когда тираны и рабы, священники и их глупые или лицемерные орудия будут существовать только в истории и на театральных сценах; когда ими будут заниматься только для того, чтобы сожалеть об их жертвах и обманутых ими, чтобы ужас их эксцессов напоминал о необходимости быть на страже, чтобы уметь распознавать и подавлять силой своего разума первые зародыши суеверия и тирании, если бы когда-нибудь они осмелились вновь показаться.

Обозревая историю обществ, мы будем иметь случай показать, что существует часто большое различие между правами, которые закон признает за гражданами, и теми, которыми они действительно пользуются; между равенством, установленным политическими учреждениями, и фактически существующим; мы докажем, что это различие было одной из главных причин уничтожения свободы в древних республиках, оно вызывало потрясавшие их бури и слабость, которые сделали их добычей иноземных тиранов.

Эти различия обусловлены тремя главными причинами: неравенством богатства, неравенством между состоянием человека, средства существования которого, обеспеченные ему самому, переходят по наследству к его семейству, и состоянием человека, для которого обладание этими средствами находится в зависимости от продолжительности его жизни, или скорее от той части жизни, когда он способен к труду; наконец, неравенством образования.

Нужно будет, таким образом, показать, что эти три рода реального неравенства должны беспрестанно уменьшаться, не исчезая однако, ибо причины

их естественны и необходимы, что было бы нелепо и опасно их устраниТЬ, что невозможноБЫЛО бы даже попытаться всецело уничтожить их следствия, не открывая в то же время еще более обильных источников неравенства, не нанося правам людей еще более непосредственных и гибельных ударов.

Легко доказать, что богатства, естественно, стремятся к равенству и их чрезмерная непропорциональность или не может существовать, или должна быстро прекратиться, если гражданские законы не создают искусственных средств, упрочивающих и накапливающих их; если свобода торговли и промышленности аннулирует преимущество, которое всякий запретительный закон, всякое фискальное право дают обладателю богатства; если пошлины с договоров, ограничения их свободы, подчинение их стеснительным формальностям, наконец, неуверенность в их исполнении и издержки, необходимые, чтобы заставить их исполнять, не останавливают деятельности бедного и не поглощают его жалких капиталов; если общественная администрация не открывает некоторым людям обильных источников наживы, закрытых для остальных граждан; если предрассудки и дух жадности, свойственный раннему возрасту, не играют решающей роли в браках; если, наконец, благодаря простоте нравов и мудрости учреждений богатства не являются более средствами удовлетворения тщеславия и честолюбия, а плохо понимаемая суровость, запрещающая использовать их для изысканных удовольствий, не заставляет сохранять уже накопленные.

Сравним у просвещенных европейских наций их нынешнее население и обширность их территории.

Присматриваясь к их культуре и промышленности, обратим свое внимание на распределение труда и средств существования, и мы увидим, что было бы невозможно сохранить эти средства в том же количестве и в силу неизбежного следствия поддержать ту же массу населения, если бы многочисленный класс людей не вынужден был удовлетворять свои потребности или потребности своего семейства почти исключительно своим трудом—ремесленным или трудом, приложенным к капиталу в производстве. Сохранение же того и другого из этих источников зависит от жизни, даже от здоровья главы каждого семейства. Это в некотором роде пожизненное богатство, или, даже более, зависимое от случая; и в силу этого создается резкое различие между этим классом людей и тем, источники существования которого отнюдь не подвергаются таким же опасностям, и который живёт или земельной рентой, или процентом с капитала, почти независимого от профессии его владельцев.

Существует, таким образом, необходимая причина неравенства, зависимости и даже нищеты, которая беспрестанно угрожает наиболее многочисленному и наиболее активному классу наших обществ.

Мы покажем, что ее можно в значительной мере ослабить, противопоставив случай случаю, гарантируя достигшему старости помочь за счет капитала, образованного его сбережениями, увеличенного сбережениями тех, кто, производя те же взносы, умер раньше, чем имел надобность их использовать; доставляя посредством подобного вспомоществования женщинам, детям, в момент, когда первые потеряют мужа или вторые отда, одинаковый источник существования,

купленный той же ценой, как для семейств, которых постигает преждевременная смерть, так и для тех, глава которых живет более продолжительное время; наконец, подготовляя детям, достигающим возраста, когда они могут работать на самих себя и образовать новую семью, выгоду обладания капиталом, необходимым для развития их промысла и возрастающим за счет тех, кому слишком ранняя смерть помешала дойти до этого состояния. Именно применению исчисления к вероятным событиям жизни, к денежным операциям, мы обязаны идеей этих средств, уже успешно употребляемых, но никогда однако не употреблявшихся ни в тех размерах, ни с тем разнообразием форм, которые сделали бы их действительно полезными не только для некоторых людей, но для всей массы общества, когда они избавляли бы огромное число семейств от периодического разорения; всегда возрождающегося источника разврата и нищеты.

Мы покажем, что эти учреждения, которые могут быть образованы именем социальной силы и стать одним из ее наибольших благодеяний, могут также явиться результатом частной инициативы, ибо общества, преследующие аналогичные цели, будут образовываться без всякой опасности, когда принципы, согласно которым эти учреждения должны организоваться, станут более популярными и заблуждения, разрушившие такое множество подобных учреждений, не будут им больше угрожать.

Мы укажем другие средства обеспечения этого равенства, путем ли народных банков, не допуская, чтобы кредит продолжал быть привилегией, исключительно связанной с большим богатством, давая ему однако не менее прочное основание, или сделав раз-

вление промышленности и торговли более независимым от существования крупных капиталистов; эти средства станут возможными опять-таки благодаря применению теории вычисления.

Равенство образования, которого можно надеяться достигнуть, но которое должно быть достаточным,— это то, которое исключает всякую зависимость, принудительную или добровольную. Мы укажем при современном состоянии знаний легкие средства достижения этой цели даже тем, кто может посвятить науке лишь немногие годы в молодости и в течение своей остальной жизни несколько часов досуга. Мы покажем, что удачным подбором самих знаний и методов преподавания можно научить народную массу всему тому, что необходимо знать каждому человеку для домашнего хозяйства, для ведения своих дел, для свободного развития своего промысла и своих способностей, для познания своих прав, умения их защищать и осуществлять; чтобы сознавать свои обязанности; чтобы иметь возможность их хорошо исполнять; чтобы уметь судить о своих и чужих поступках на основании своих собственных знаний и чтобы не быть чуждым ни одному из возвышенных и нежных чувств, украшающих человеческую природу; чтобы не быть в слепой зависимости от тех, кому он вынужден поручать заботу о своих делах или осуществление своих прав; чтобы быть в состоянии их выбирать и за ними наблюдать; чтобы не быть обманутым народными заблуждениями, которые волниют жизнь суеверными страхами и наивными надеждами; чтобы защищаться против предрассудков единственно силами своего разума; наконец, чтобы избавиться от престпжа шарлатанства, которое расставило бы западню его бо-

гатству, здоровью, свободе его возврений и совести под предлогом его обогатить, излечить и спасти.

И вот, когда жители одной и той же страны не различаются употреблением более грубого или более тонкого языка; умеют одинаково исполнять, основываясь на собственных знаниях, обязанности законодателя или администратора; не ограничиваются механическим усвоением процессов искусства и рутины своей профессии; не зависят ни в менее важных делах, ни при получении малейшего образования от искусственных людей, которые в силу неизбежного превосходства управляют страной,—тогда должно создаться действительное равенство, так как различие знаний или талантов не может больше возвысить барьер между людьми, которым их чувства, идеи и язык позволяют друг друга понимать, из которых одни могут пожелать учиться у других, не считая нужным руководствоваться их указаниями, и которые могут согласиться поручить наиболее просвещенным заботу управления, не желая быть вынужденными представлять им это право со слепым доверием.

Именно тогда это превосходство приносит пользу тем, кто им не наделен, когда оно существует для них, отнюдь не против них. Естественное различие способностей между людьми, ум которых совершенно не воспитывался, порождает у диких племен шарлатанов и простаков, людей ловких и людей, легко обманываемых; это же различие существует, без сомнения, и в народе, где образование действительно общее, но оно там существует только между просвещенными людьми и теми, кто понимает значение знаний, не прельщаясь однако ими; между талантом или гением и здравым смыслом, который умеет их ценить

и использовать; и хотя это различие, если сравнить только силу и объем способностей, оказалось бы весьма значительным, оно тем не менее не будет очень чувствительным с точки зрения его проявления в отношениях людей между собой, в том, что касается их независимости и их счастья.

Эти разнообразные причины равенства не действуют изолированно; они соединяются, смешиваются, взаимно поддерживаются, и результатом их комбинированных влияний является более сильное, более верное, более постоянное действие. Если образование более равномерно распространено, оно порождает большое равенство в промышленности и отсюда — в богатстве; и равенство богатства непременно способствует равенству образования, между тем как равенство, которое устанавливается между народами и в каждом в отдельности, взаимно влияют еще друг на друга.

Наконец, правильно руководимое образование смягчает естественное неравенство способностей и не допускает его укрепления, подобно тому как хорошие законы ослабляют естественное неравенство в распределении средств существования; и в обществах, где учреждения установят это равенство, свобода, хотя подчиненная правильной конституции, будет шире, полнее, чем при самостоятельной жизни в диком состоянии. Тогда социальное искусство выполнило свою задачу — обеспечить всем пользование общими правами, осуществлять которые люди призваны природой.

Реальные преимущества как результаты прогресса, контуры которого почти ясно вырисовываются, могут иметь пределом только совершенствование чело-

веческого рода, ибо, по мере того как различные виды равенства предоставят ему более широкие средства удовлетворения наших потребностей, дадут ему возможность получить более широкое образование, позволяя ему пользоваться более полной свободой. И по мере того, как это равенство станет все более действительным, он все более будет приближаться к моменту, когда сможет охватить все то, что подлинно составляет счастье людей.

Таким образом, только исследуя движение и законы этого совершенствования, мы сумеем определить размер, или предел наших надежд.

Никто никогда не предполагал, что разум может исчерпать и все факты природы, и последние средства точности в измерении, в анализе этих фактов, и отношения предметов между собой, и все возможные сочетания идей. Одни только отношения величин, сочетания одной этой идеи, количество или протяженность образуют систему, уже слишком необъятную, чтобы человеческий ум мог когда-нибудь охватить ее всю целиком, чтобы часть этой системы, всегда более обширная, чем та, которую он способен познать, не оставалась для него навсегда неизвестной. Но можно было предположить, что человек, имея возможность познать только часть предметов, доступных ему в силу природы своего ума, должен, наконец, встретить границу, где число и сложность тех, которые, он знает, поглотили бы все его силы, и всякий новый прогресс стал бы для него действительно невозможен.

Но так как, по мере увеличения количества фактов, человек научается классифицировать их, сводить их к более общим фактам; так как инструменты

и методы, служащие для наблюдения и для их верного измерения, приобретают в то же время все большую точность; так как, по мере открытия все большего числа отношений между большим количеством предметов, достигается возможность сводить эти отношения к более распространенным и заключать их в выражения более простые, представлять их в формах, позволяющих даже обладающему средней умственной силой и действующему с обычной интенсивностью внимания, обнять гораздо большее количество отношений; так как, по мере возвышения ума к более сложным сочетаниям, более простые формулы скоро делают их для него легкими, то истины, открытие которых стоило многих усилий, которые сначала были доступны пониманию только людей, способных к глубоким размышлениям, вскоре затем развиваются и доказываются методами, которые может усвоить обыкновенный ум. Но если методы, которые приводят к новым сочетаниям, исчерпаны, если их применения к еще не разрешенным вопросам требуют трудов, превосходящих время, или силы ученых, то скоро методы более общие, средства более простые открывают новое поле гению. Пусть сила и реальный объем человеческих умов останутся теми же, но инструменты, которыми они могут пользоваться, будут умножаться и совершенствоваться; но язык, укрепляющий и определяющий идеи, сможет приобрести большую точность, большую общность; но вопреки тому, что мы знаем из механики, что нельзя увеличивать силу, не уменьшая скорости, эти методы, которыми будет руководствоваться гений в открытии новых истин, равным образом, добавят энергии и к его силе и к быстроте его операций.

Наконец, так как эти изменения сами являются необходимым следствием прогресса в познании детальных истин и причиной, обусловливающей потребность в новых источниках, производя в то же время средства открывать последние, то в силу этого реальная масса истин, образующих систему наук наблюдения, опыта или вычисления, может беспрестанно увеличиваться; и между тем, все части этой самой системы не могли бы беспрерывно совершенствоваться, предполагая, что способности человека сохраняют ту же силу, ту же активность, тот же объем.

Применяя эти общие размышления к различным наукам, мы дадим для каждой из них примеры этих последовательных совершенствований, которые не оставят никакого сомнения относительно достоверности тех, которых мы должны ожидать. Мы в особенности укажем прогресс тех наук, которые предрассудок рассматривает как наиболее близкие к состоянию истощения, прогресс, надежда на который наиболее вероятная и наиболее близкая. Мы раскроем все то, что более общее, более философское приложение математики ко всем человеческим знаниям должно к ним добавить, расширяя, доводя до большей точности и единства всю систему этих знаний. Мы покажем, как всеобщее образование в каждой стране, давая гораздо большему количеству людей элементарные знания, которые могут им внушить склонность к какой-нибудь науке, и легкость достижения успеха на этом пути, должно увеличить эти надежды; насколько они увеличиваются также в том случае, если более общий достаток позволяет большему контингенту людей предаваться этим за-

иятиям, ибо в действительности, в наиболее просвещенных странах, едва пятая часть тех, кого природа наделила талантами, получают образование, необходимое для их развития, и что, таким образом, число людей, призванных расширять границы наук своими открытиями, должно было бы тогда возрастать в этой самой пропорции.

Мы покажем, насколько это равенство образования и равенство, которое должно установиться между различными нациями, ускоряло бы движение тех наук, прогресс которых зависит от большего числа повторенных наблюдений, распространенных на более обширную территорию,—все то, чего минералогия, ботаника, зоология, метеорология должны ожидать; наконец, какая огромная несоразмерность существует для этих наук, между слабостью средств, которые, тем не менее, привели нас к стольким полезным и важным истинам, и могуществом тех, которыми человек мог бы тогда пользоваться.

Мы изложим, насколько даже для наук, в которых открытия являются результатом только умозаключений, преимущество быть предметом изучения весьма многих людей может способствовать их прогрессу благодаря тем детальным усовершенствованиям, которые не требуют силы ума, необходимой изобретателям, и которые легко постигаются простым размышлением.

Если мы перейдем к искусствам, теория которых зависит от этих самых наук, мы увидим, что их прогресс должен совершаться параллельно с развитием этой теории; что процессы искусств способны так же совершенствоваться и упрощаться, как и научные методы; что инструменты, машины, рабочие станки

будут увеличивать все большую силу и ловкость людей и будут содействовать одновременно большему совершенству и большей точности продуктов, уменьшая и время и труд, необходимые для их производства; тогда исчезнут препятствия, затрудняющие еще этот прогресс, и случайности, которые люди научатся предвидеть и предупреждать; будут устранины также вредные влияния работ, привычек или климата.

Тогда, обрабатывая меньшую земельную площадь, удастся получить массу пищевых продуктов гораздо большей полезности и более высокой ценности, чем раньше давала большая площадь; большие наслаждения можно будет испытывать при меньшем потреблении; тот же продукт промышленности будет производиться с меньшей затратой сырого материала или употребление его станет более продолжительным. Для каждой почвы люди сумеют выбирать продукты, отвечающие наибольшему количеству потребностей; между продуктами, удовлетворяющими потребности одного рода, выберут те, которые удовлетворяют большую массу, требуя меньше труда и меньше действительного потребления. Таким образом, средства сохранения и экономии в потреблении без всякой жертвы будут следовать за прогрессом искусства воспроизводить различного рода средства существования, приготовлять их и изготавливать из них продукты.

Итак, не только та же земельная площадь сможет прокормить большее количество людей, но каждый из них, занятый менее тяжелым трудом, будет пытаться более целесообразно и сможет лучше удовлетворять свои потребности.

Но при этом развитии промышленности и благосо-

стояния, обусловливающих более выгодную соразмерность между способностями человека и его потребностями, каждое поколение, в силу этого прогресса, или благодаря сохранению продуктов прежнего производства, призвано будет к большей сумме наслаждений, и отсюда благодаря последовательности физического строения человеческого рода — к возрастанию численности людей; тогда не должно ли человечество дойти до предела, где эти законы, одинаково необходимые, стали бы себе противоречить, где увеличение количества людей, превзойдя количество средств существования, неизбежно вызвало бы если не беспрерывное уменьшение благосостояния и народонаселения, то истинно попятное движение, по меньшей мере, нечто в роде колебания между добром и злом? Это колебание в обществах, достигших предела, не явилось ли бы постоянной причиной нищеты, в некотором роде периодической? Не отметило ли бы оно границы, где всякое улучшение стало бы невозможным, и не положило ли опо предела способности человеческого рода совершенствоваться, предела, который, достигнув его в бесконечности веков, человек не мог бы никогда перейти?

Всякому, без сомнения, видно, насколько это время от нас удалено; но должны ли мы когда-нибудь достигнуть этого предела? Однаково невозможно высказаться за или против будущей реальности события, которое могло бы осуществиться только в эпоху, когда человеческий род неизбежно приобретет знания, о которых мы едва можем иметь представление. И кто, в самом деле, дерзнул бы угадать то, чем должно однажды стать искусство превращать элементы в годную для нашего употребления пищу?

Но допуская, что этот предел должен когда-либо стать реальным, мы видим, что отсюда не вытекает ничего тревожного ни для счастья человеческого рода, ни для его способности неограниченно совершенствоваться, если предполагается, что до этого времени прогресс разума будет идти рядом с прогрессом наук и искусств, что вздорные предрассудки суеверия перестанут подчинять мораль строгости, которая ее портит и унижает, вместо того чтобы ее очищать и возвышать. Люди будут тогда знать, что если они имеют обязанности по отношению к существам, еще не родившимся, то они заключаются не в том, чтобы дать им жизнь, а в том, чтобы дать им счастье, что предмет этих обязанностей—это общее благосостояние человеческого рода, или общества, в котором они живут, или семьи, с которой они связаны, а отнюдь не ребяческая идея обременять землю бесполезными и несчастными существами. Таким образом, возможная масса средств существования могла бы быть ограниченной и, следовательно, мог бы наступить предел возможному возрастанию народонаселения, но это обстоятельство не вызывало бы столь противного природе и социальному благополучию преждевременного истребления части существ, получивших жизнь.

Так как открытие, или, вернее, точный анализ основных принципов метафизики, морали и политики сделан только недавно и так как этому предшествовало познание многочисленных второстепенных истин, то установилось ошибочное мнение, будто эти науки достигли своего последнего предела: вообразили, что в этих областях знания уже нечего делать, ибо не приходилось больше бороться против грубых заблуждений и устанавливать основные истины.

Но легко видеть, насколько анализ интеллектуальных и моральных способностей человека еще несовершенен, насколько знание его обязанностей, которое предполагает знание влияния его действий на благосостояние ему подобных, на общество, членом которого он состоит, может быть расширено еще более продолжительным, более внимательным, более точным наблюдением этого влияния; сколько вопросов остается разрешить, сколько социальных отношений нужно исследовать, чтобы точно узнать объем личных прав человека и тех прав, которые социальный строй дает всем по отношению к каждому! Указаны ли до сих пор, хотя бы с некоторой точностью, пределы этих прав как между различными обществами во время войны, так и прав этих обществ на своих членов во время происходящих между ними раздоров или, наконец, положены ли пределы правам личностей произвольных собраний в случае первоначального и свободного их образования или в случае их разделения, ставшего необходимым?

Если перейти теперь к теории, которая должна руководить применением этих принципов и служить основанием искусству социального строительства, не видим ли мы необходимости достигнуть точности, которой эти основные истины не могут быть доступны в их абсолютной общности? Имеем ли мы возможность обосновать все законодательные акты на справедливости доказанной и признанной полезности, а не на смутных, неизвестных и произвольных выражениях о мнимых политических выгодах? Установили ли мы точные правила, согласно которым можно было бы с уверенностью выбрать между почти бесконечным числом возможных комбинаций, где были бы

соблюдены общие принципы равенства и естественных прав, те из них, которые более обеспечивают сохранение этих прав, оставляют больший простор пользованию и наслаждению ими, более гарантируют отдых, благосостояние личностям, силу, мир и благополучие нациям.

Применение вычисления сочетаний и вероятностей к социальным наукам обещает прогресс, тем более важный, что оно одновременно является единственным средством придать их результатам почти математическую точность и оценить степень их достоверности или правдоподобия. Факты, на которые опираются эти результаты, могут, конечно, без вычислений и на основании одного только наблюдения, привести иногда к общим истинам; могут научить, было ли действие, обусловленное такой-то причиной, благоприятно или вредно; но если эти факты не могли быть ни высчитаны, ни взвешены, если эти действия не могли быть подчинены точному измерению, тогда нельзя будет узнать хорошего и дурного следствия этой причины; если они взаимно уравновешиваются с некоторым равенством, если разница не очень велика, то невозможно будет даже высказаться с некоторой достоверностью, в какую сторону наклоняется чашка весов. Без применения вычислений часто невозможно было бы выбрать с некоторой уверенностью между двумя сочетаниями, образованными для достижения одной и той же цели, когда преимущества, которые они представляют, не поражают очевидной несоразмерностью. Наконец, без этой самой помощи эти науки остались бы всегда грубыми и ограниченными, лишенными достаточно тонких инструментов, чтобы уловить едва заметные истины, достаточно

верных машин, чтобы достигнуть глубины рудника, где скрывается часть богатств.

Между тем, это применение, невзирая на удачные попытки некоторых геометров, находится еще, так сказать, в зачаточном состоянии; но оно должно открыть будущим поколениям столь же неисчерпаемый источник знаний, как неисчерпаема сама наука исчисления, как неисчерпаемо число сочетаний, отношений и фактов, доступных исчислению.

Есть другой прогресс этих наук, не менее важный,— это усовершенствование их языка, еще столь смутного и неясного. А именно, благодаря этому усовершенствованию они могли бы стать истинно народными, даже в своих главных элементах. Гений легко справляется с неточностями научных языков, как и преодолевает другие препятствия; он распознает истину, невзирая на скрывающую или преображающую ее маску, но тот, кто может посвятить своему образованию лишь весьма ограниченное время, удается ли ему приобрести и сохранить эти простейшие понятия, если они искажены неточным языком? Чем меньше идей он может собирать и сочетать, тем более ему необходимо, чтобы они были справедливы и точны; он не может находить в своем собственном уме системы истин, защищающих его от заблуждения, и его разум, которого он не имел возможности ни укреплять, ни уточнить долгим упражнением, не способен улавливать слабых проблесков, скрывающихся под туманностями и двусмысленностями несовершенного и порочного языка.

Люди не смогут постигать сущность и развитие своих моральных чувств, принципы морали, естественные мотивы, побуждающие сообразовать с ними свои дей-

ствия, интересы либо как личности, либо как члены общества, не делая в то же время в области практической морали успехов, не менее реальных, чем успехи самой науки. Плохо понятый интерес не является ли наиболее частой причиной действий, вредных общему благу? Жестокость страстей не является ли часто следствием привычек, которым предаются только благодаря ложному расчету или незнанию средств, помогающих сопротивляться их первичным движениям, обуздывать их, отвращать и направлять их действие.

Привычка размышлять о своем собственном поведении, вопрошать и прислушиваться при этом к своему разуму и своей совести и привычка нежных чувств, смешивающих наше счастье с счастьем других, не являются ли они необходимым следствием учения и хорошо руководимой морали, результатом большого равенства в условиях общественного договора? Сознание своего достоинства, свойственное свободному человеку, воспитанное на глубоком знании нашей моральной организации, не должны ли они сделать общими почти для всех людей принципы строгой и чистой справедливости, привычные движения активной и просветленной благосклонности, нежной и великодушной чувствительности, зародыши которых природа посеяла во всех сердцах и которые для своего развития ждут только благоприятного влияния знаний и свободы? Подобно тому как математические и физические науки служат для усовершенствования искусств, используемых для удовлетворения наших простейших потребностей, не точно так же ли в необходимом порядке природы прогресс моральных и политических наук должен оказывать

то же действие на мотивы, которые руководят нашими чувствами и поступками?

Совершенствование законов, общественных учреждений, прямое следствие прогресса этих наук, не стремится ли оно приблизить, отождествить интерес каждого с общим интересом всех? Целью социального искусства не является ли уничтожение кажущейся противоположности этих интересов? И страна, конституция и законы которой будут наиболее точно соответствовать воле разума и природы, не та ли, где будет легче совершить добрые дела, где попытки уклониться от добродетельного пути будут наиболее редкими и наиболее слабыми?

Где та порочная привычка, тот дурной обычай, даже то преступление, происхождение и главную причину которых нельзя было бы найти в законодательстве, в учреждениях, в предрассудках страны, где наблюдаются эта привычка или этот обычай, где совершилось это преступление?

Наконец, благосостояние, вытекающее из прогресса полезных искусств, опирающихся на здоровую теорию, или прогресса справедливого законодательства, основывающегося на истинах политических наук, не располагает ли оно людей к гуманизму, благотворительности и справедливости?

Наконец, все эти наблюдения, которые мы предполагаем развить в самом произведении, не доказывают ли они, что моральная доброта человека, необходимый результат его организации, доступна, как все другие способности, неограниченному совершенствованию, и что природа связывает неразрывной цепью истину, счастье и добродетель?

Одним из наиболее важных для общего счастья

результатов прогресса человеческого разума мы должны считать полное разрушение предрассудков, создавших неравенство прав между двумя полами, гибельное даже для того, кому оно благоприятствует. Напрасно искали бы мотивов для оправдания этого неравенства в различиях их физической организации, в различии, которое хотели бы находить в силе их ума, в их нравственной отзывчивости. Оно порождено было только злоупотреблением силой, и тщетно пытались оправдать его софизмами.

Мы покажем, насколько уничтожение обычаяев, опиравшихся на этот предрассудок, законов, продиктованных им, может способствовать увеличению семейного счастья, сделать общими семейные добродетели,—главное основание всех других,—благоприятствовать прогрессу образования и, в особенности, сделать его действительно общим, либо потому, что оно распространилось бы на оба пола более равномерно, либо потому, что оно может стать общим даже для мужчин, только при помощи матерей семейств. Эта слишком запоздалая дань уважения, оказанная, наконец, справедливости и здравому смыслу, не повела ли бы она к истощению слишком обильного источника несправедливостей, жестокостей и преступлений, устранив столь опасное противоречие между наиболее пылкой, наиболее трудно подавимой естественной наклонностью и обязанностями человека или интересами общества. Не породила ли бы она, наконец, того, что до сих пор было только химерой; мягких и чистых национальных нравов, характеризующихся не гордыми лишениями, не лицемерной наружностью, не скромностью, внушенной страхом стыда или религиозными ужасами, но

отношениями свободно договоренными, подсказаными природой и призванными разумом?

Наиболее просвещенные народы, отвоевав себе право самостоятельно располагать своей жизнью и своими богатствами, постепенно научатся рассматривать войну как наиболее гибельный бич, как величайшее преступление. Первыми прекратятся те войны, в которые узурпаторы верховной власти наций вовлекают их из-за мнимых наследственных прав.

Народы узнают, что они не могут стать завоевателями, не потеряв своей свободы, что вечные союзы являются единственным средством поддерживать их независимость, что они должны искать безопасности, а не могущества. Постепенно рассеются коммерческие предрассудки, ложный меркантильный интерес потеряет свою страшную силу обагрять кровью землю и разорять нации под предлогом их обогащения. Так как народы сблизятся, наконец, в принципах политики и морали, так как каждый из них ради своей собственной выгоды призовет иноземцев к более равному разделу благ, которыми он обязан природе или своей промышленности, то в силу этого все причины, вызывающие, раздражающие и пытающие национальную ненависть, мало-помалу исчезнут; они не доставят больше воинственной ярости ни пищи, ни повода.

Учреждения, лучшие организованные, чем те проекты вечного мира, которые заняли досуг и утешали душу некоторых философов, ускорят прогресс этого братства наций; и международные войны, как и убийства, будут в числе тех необыкновенных жестокостей, которые унижают и возмущают природу, которые надолго клеймят позором страну и век, летописи которого ими были осквернены.

Говоря об изящных искусствах Греции, Италии и Франции, мы уже заметили, что нужно было отличать в их произведениях то, что действительно принадлежало прогрессу искусства, и то, чем они обязаны были только таланту художника. Мы укажем прогресс, которого искусства должны еще ожидать здесь или от успехов философии и наук, или от более многочисленных, более внимательных наблюдений над предметом, влияниями, средствами этих самых искусств, или, наконец, от разрушения предрасудков, которые сузили круг их действия и удерживают их еще под игом авторитета, от которого наука и философия уже освободились. Мы исследуем, должны ли эти средства, как полагали, исчерпаться, так как наиболее величественные или наиболее трогательные красоты схвачены, сюжеты наиболее удачные использованы, сочетания наиболее простые и наиболее поразительные употреблены, характеры наиболее сильно выраженные, наиболее общие нарисованы, страсти наиболее энергичные, их наиболее естественные или наиболее истинные выражения изображены, истины наиболее впечатльные, картины наиболее блестящие воплощены в дело,—и обречены ли искусства, как бы обильными ни предположить их средства, на вечное однообразие подражания прежним образцам.

Мы покажем, что это мнение является только предрассудком, порожденным привычкой литераторов и художников судить людей, вместо того чтобы наслаждаться произведениями. Если мы должны терять рассудочное удовольствие, обусловленное сравнением произведений различных веков или разных стран благодаря восхищению, которое возбуждает

усилия или успех гения, то, тем не менее, наслаждения, которые доставляют эти произведения, рассматриваемые сами по себе и в зависимости от действительного их совершенства, должны быть также живы, когда бы даже тот, кому они принадлежат, менее заслужил честь возвыситься до этого совершенства. По мере того как произведения, действительно достойные быть сохраненными, будут умножаться, станут более совершенными, каждое поколение удовлетворит свое любопытство и свое восхищение теми произведениями, которые заслужат предпочтения, между тем как другие незаметно будут преданы забвению; наслаждения этими более простыми, более поразительными красотами, которые были схвачены первыми, не менее будут существовать для новых поколений, когда они должны будут их находить только в новейших произведениях.

Прогресс наук обеспечивает прогресс промышленности, который сам затем ускоряет научные успехи, и это взаимное влияние, действие которого беспрестанно возобновляется, должно быть причислено к наиболее деятельным, наиболее могущественным причинам совершенствования человеческого рода. В настоящее время молодой человек по окончании школы знает из математики более того, что Ньютон приобрел путем глубокого изучения или открыл своим гением; он умеет владеть орудием вычисления с легкостью, тогда недоступной. Это наблюдение может, однако с некоторыми оговорками, применяться ко всем наукам. По мере того как каждая из них будет увеличиваться в объеме, будут равным образом совершенствоваться средства представлять по возможности более сокращенно доказательства много-

численных истин и облегчать понимание последних. Таким образом, невзирая на новые успехи наук, не только люди, равно одаренные, окажутся в одинаковые эпохи их жизни на уровне современного им состояния знаний, но для каждого поколения неизбежно возрастет та сумма знаний, которую можно приобрести в один и тот же промежуток времени, с одной и той же умственной силой, при одном и том же внимании; и элементарная часть каждой науки, та, которой все люди могут достигнуть, став все более обширной, обнимет более полно все, что, может быть, необходимо знать каждому для руководства в своей обыденной жизни, для того чтобы пользоваться своим разумом с полной независимостью.

В политических науках есть ряд истин, которые, в особенности у свободных народов (т. е. в некоторых поколениях у всех народов), могут быть полезны только тогда, когда они общепривычны и общепризнаны. Таким образом, влияние прогресса этих наук на свободу, на благополучие наций должно в некотором роде измеряться количеством этих истин, которые благодаря элементарному образованию становятся общедоступными. Таким образом, всегда возрастающий прогресс элементарного образования, связанный с неизбежным прогрессом этих наук, служит нам порукой в улучшении участия человеческого рода, которое может быть рассматриваемо как безграничное, ибо пределами его могут быть только границы этого двойного прогресса.

Нам остается теперь сказать о двух общих средствах, которые должны одновременно влиять на совершенствование промышленного искусства и наук: одно—это более широкое и более совершенное упо-

требление того, что можно назвать техническими методами; другое—образование всемирного языка.

Под техническими методами я разумею искусство соединять в систематическом порядке большое количество объектов и давать, таким образом, возможность с первого взгляда видеть их отношения, быстро заметить их сочетания и легче образовывать новые.

Мы разовьем принципы, мы дадим понять полезность этого искусства, которое находится еще в состоянии своего младенчества и которое может, совершившись, представить удобство собрать на небольшом пространстве картины то, что было бы часто трудно дать столь же быстро и так же хорошо понять в чрезвычайно объемистой книге, или еще более драгоценное средство располагать отдельные факты в порядке, при котором наиболее удобно выводить их общие результаты. Мы изложим, как помошью небольшого числа картин, пользованию которыми легко было бы научиться, люди, которые не могли подняться значительно выше наиболее элементарного образования, чтобы усвоить подробные знания, полезные в их повседневной жизни, смогут по желанию, когда встретят в этом необходимость, такие находить, как, наконец, употребление этих методов может облегчить элементарное образование всех видов, где это образование основывается либо на систематическом порядке истин, либо на ряде наблюдений фактов.

Всемирным языком является такой, который выражает знаками или реальные предметы, или вполне определенные их совокупности, которые, заключая в себе простые и общие идеи, находятся или могут одинаково образоваться в уме каждого человека, или,

наконец, выражает общие отношения между этими идеями, операции человеческого разума, которые свойственны каждой науке или процессам искусств. Таким образом, люди, которые знали бы эти знаки, метод их сочетания и законы их образования, понимали бы написанное на этом языке и выражали бы это одинаково легко на обыкновенном языке своей страны. Ясно, что этот язык мог бы употребляться для изложения либо научной теории, либо процесса искусства, для представления отчета опыта или нового наблюдения, изобретения процесса, открытия истины или метода. Ясно, что, как в алгебре, когда явились бы необходимость пользоваться новыми знаками, те, которые были бы уже известны, помогли бы объяснить их значение.

Такой язык не страдает неудобствами научного языка, отличного от обыкновенного. Мы уже заметили, что научный язык разделил бы неизбежно общество на два неравных между собой класса; один, составленный из людей, знающих этот язык, имел бы ключ ко всем наукам; другой, представитель которого не могли изучить его, оказался бы почти совершенно лишним возможностями приобретать знания. Здесь, напротив, всеобщий ключ изучался бы одновременно с самой наукой, как в алгебре; знак узнали бы в то же время, как и предмет, идею или операцию, которые он означает. Тот, кто, изучив элементарную часть науки, хотел бы расширить свои познания в этой области, нашел бы в книгах не только истины, которые он может понять помощью знаков, значение которых он уже знает, но также объяснение новых знаков, необходимых ему для понимания других истин.

Мы покажем, что образование такого языка, который ограничивался бы выражением простых и точных положений, подобно тем, которые образуют систему какой-либо науки, или методу искусства, отнюдь не явилось бы химерической идеей, что даже ее осуществление было бы уже возможно для большого количества предметов, что наиболее реальным препятствием к распространению всемирного языка на другие предметы явился бы недостаток точных идей, вполне определенных понятий, хорошо согласованных в умах.

Мы укажем, как этот язык, беспрерывно совершенствуясь, с каждым днем все более расширяясь, внес бы во все области знания, доступные человеку, строгость и точность, которые позволили бы легко познать истину и сделали бы почти невозможным заблуждение. Тогда развитие каждой науки отличалось бы уверенностью, характерной для математических наук, и положения, образующие ее систему, имели бы всю геометрическую достоверность, т. е. все то, что может дать природа их предмета и их метода.

Все эти причины совершенствования человеческого рода, все эти средства, обеспечивающие его, должны, в силу своей природы, оказывать всегда активное действие и приобретать беспрестанно возрастающие размеры.

Мы изложили доказательства, которые в самом труде получат благодаря своему развитию большую силу; мы могли уже заключить, что человеческая способность совершенствоваться безгранична. Между тем мы до сих пор полагали, что человек сохранит свои естественные способности и свою организацию в том же виде, в каком она находится теперь. Нам остается,

таким образом, исследовать последний вопрос, какова была бы достоверность и размер наших надежд, если бы можно было предположить, что эти способности и эта организация также доступны улучшению.

Способность совершенствоваться или органическое вырождение пород растений и животных могут быть рассматриваемы как один из общих законов природы.

Этот закон распространяется на человеческий род, и никто, конечно, не будет сомневаться в том, что прогресс предохранительной медицины, пользование более здоровыми пищей и жилищами, образ жизни, который развивал бы силы упражнениями, не разрушая их излишествами, что, наконец, уничтожение двух наиболее активных причин упадка—нищеты и чрезмерного богатства—должно удлинить продолжительность жизни людей, обеспечить им более постоянное здоровье, более сильное телосложение. Понятно, что прогресс предохранительной медицины, став более целесообразным благодаря влиянию прогресса разума и социального строя, должен со временем устранить передаваемые заразные болезни и общие болезни, обусловленные климатом, пищей и природой труда. Было бы нетрудно доказать, что этот результат профилактики должен распространяться почти на все другие болезни, отдаленные причины которых люди, вероятно, сумеют вскрыть. Будет ли теперь нелепо предположить, что совершенствование человеческого рода должно быть рассматриваемо как неограниченно прогрессирующая способность, что должно наступить время, когда смерть будет только следствием либо необыкновенных случайностей, либо все более и более медленного разрушения жизненных

сил, и что, наконец, продолжительность среднего промежутка между рождением и этим разрушением не имеет никакого определенного предела? Без сомнения, человек не станет бессмертным, но расстояние между моментом, когда он начинает жить, и тем, когда, естественно, без болезни, без случайности, он испытывает затруднение существовать, не может ли оно беспрестанно возрастать? Так как мы говорим здесь о прогрессе, который может быть представлен числовыми величинами или изображен графически, то уместно теперь развить два смысла, в которых можно понимать слово *неопределенный*.

В самом деле, средняя продолжительность жизни, которая должна беспрестанно увеличиваться, по мере того как мы углубляемся в будущность, может возрастать согласно такому закону, что она беспрерывно приближается к беспредельной продолжительности, никогда ее не достигая, или согласно такому, что эта самая продолжительность могла бы приобрести в бесконечности веков размер, больший определенной величины, которая была бы ей назначена пределом. В этом последнем случае возрастания действительно неопределенны в наиболее абсолютном смысле, ибо не существует грани, по сю сторону которой они должны остановиться.

В первом случае они неопределены также по отношению к нам, если мы не можем определить границы, которой они никогда не могут достигнуть и к которой они должны всегда приближаться, в особенности, если, зная только, что они не должны остановиться, мы не знаем, в каком из этих двух смыслов термин неопределенный должен к ним применяться; и таков именно предел наших нынешних знаний о способности

человеческого рода совершенствоваться; таков смысл, в котором мы можем ее назвать неопределенной.

Таким образом, в примере, который здесь рассматривается, нам приходится признать, что средняя продолжительность человеческой жизни должна беспрестанно возрастать, если только физические революции не будут этому препятствовать; но мы не знаем, где та граница, которой она никогда не должна перейти; мы не знаем даже, определена ли общими законами природы грань, далее которой она не могла бы распространиться.

Но физические способности, сила, ловкость, тонкость чувств, не должны ли они причисляться к тем качествам, личное совершенство которых может передаваться? Наблюдение различных пород домашних животных должно нас в этом убедить, и мы сможем это подтвердить наблюдениями, сделанными непосредственно над человеческим родом.

Наконец, можно ли распространить эти самые надежды и на интеллектуальные и моральные способности человека? И наши родители, от которых мы наследуем достоинства или недостатки устройства их тела, которые передают нам и отличительные черты своей фигуры и расположения к известным физическим привязанностям, не могут ли они также передавать нам ту часть своей физической организации, откуда исходят ум, сила рассудка, энергия души или моральная чувствительность? Не правдоподобно ли, что воспитание, совершенствуя эти качества, влияет на эту самую организацию, видоизменяет и совершенствует ее? Аналогия, анализ развития человеческих способностей и даже некоторые факты как будто доказывают реальность этих

догадок, которые еще более расширили бы пределы наших надежд.

Таковы вопросы, исследование которых должно закончить эту последнюю эпоху. Насколько эта картина человеческого рода, освобожденного от всех его цепей, избавленного от власти случая, как и от господства врагов его прогресса и шествующего шагом твердым и верным по пути истины, добродетели и счастья, представляет утешительное зрелище философу, удрученному заблуждениями, преступлениями и несправедливостями, которыми земля еще осквернена и жертвой которых он часто является? Именно в созерцании этой картины он видит награду за свои усилия, направленные к торжеству разума, для защиты свободы. Он дераает тогда присоединить их к вечной цели человеческих судеб; именно там он находит истинное вознаграждение за добродетель, удовольствие от сознания, что он совершил прочное благо, которого рок не уничтожит больше гибельным противодействием, восстановливая предрассудки и рабство. Это созерцание является для него убежищем, где память о своих гонителях не может его преследовать; где, живя мысленно с человеком, восстановленным в правах как в достоинстве его природы, он забывает современного ему человека, которого жадность, страх или зависть мучат и развращают; именно там он существует подлинно с себе подобными, в некотором раю, который его разум сумел создать и который его любовь к человечеству украсила чистыми наслаждениями.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Кондорса, литературная деятельность которого продолжалась с 1765 по 1794 г., написал значительное количество работ. Большею частью они были ответом на насущные вопросы жизни и помещались в периодической печати. Вдова Кондорса вскоре после смерти мужа предприняла издание его сочинений при содействии друзей Кондорса доктора Кабаниса и Гара. В течение 1801—1804 гг. вышло 12 томов. Это издание не было полным.

Другое издание работ Кондорса было осуществлено в 1847—1849 гг. дочерью Кондорса О'Коннор и Араго, секретарем Академии наук. Издано было 12 томов. Это издание также оказалось неполным. В него, например, не вошла «Неизданная переписка Кондорса с Тюрго», опубликованная в 1883 г.

Каэн (Саэн) в своей работе о Кондорсе (стр. XVII) дает перечень неопубликованных Араго работ Кондорса.

Предлагаемый читателю «Эскиз», по существу, незаконченное произведение Кондорсэ. Работа представляет расширенный конспект большого труда. Характерно, что в «Эскизе» читатель совершенно не найдет цитат, взятых из произведений ученых, философов. А ведь в «Эскизе» Кондорсэ пытался представить всю историю мысли в ее главных чертах и представителях. Незаконченность работы объясняется тем, что она писалась в подполье, когда Кондорсэ скрывался от суда конвента и в силу условий не мог использовать все собранные им ранее материалы.

В издании 1848 г., осуществленном Араго, помимо «Эскиза» в 6-й том включены четыре наброска, касающиеся первой, четвертой, пятой и десятой эпох.

Буржуазная литература о Кондорсэ небогата. Из солидных работ, мимо которых исследователь Кондорсэ не может пройти, необходимо отметить работу Робинэ «Condorcet, sa vie, son oeuvre» (1743—1794).

В работе 7 глав:

1. Период научной деятельности (1769—1774).
2. Годы философской и экономической пропаганды (1774—1776).
3. Период политической пропаганды (1776—1789).
4. Кондорсэ в Парижской коммуне (1789—1791).
5. Кондорсэ в законодательном собрании (1791—1792).
6. Кондорсэ в национальном конвенте (1792—1793).
7. Изгнание и смерть Кондорсэ (1793—1794).

Автор—противник Кондорсэ. В работе дается в извлечении большой фактический материал из работ Кондорсэ и из работ о нем. К работе приложен библиографический указатель произведений Кондорсэ в хронологическом порядке, а также перечень работ о Кондорсэ.

В 1904 г. в Париже вышла объемистая работа Леона Санена. В работе освещаются деятельность и учение Кондорсэ на фоне событий французской революции. Краткое содержание работы:

Первая часть.—Кондорсэ до 1789 г.

Вторая часть.—Деятельность Кондорсэ в период Учредительного собрания.

Третья часть.—Кондорсэ в законодательном собрании.

Четвертая часть.—Кондорсэ в конвенте.

Третьей крупной работой, посвященной Кондорсэ, явля-

ется работа Аллангри (Allengry) «Condorcet guide de la Révolution», 1904.

Эта работа дает обстоятельную, положительную характеристику Кондорсэ. В «Revue critique d'histoire et de littérature» за 1905 г. помещена статья известного историка Альберта Матье.

В этой статье Матье критикует работы Каен и Аллангри за переоценку ими Кондорсэ. Матье критикует Кондорсэ с позиций Робеспьера.

Перечисленные выше являются основными работами о Кондорсэ на французском языке.

Что касается исследований о Кондорсэ в России, то их, по существу, нет. Имеющиеся статьи М. Ковалевского, Винпера и пр. не дают полного, правильного представления о Кондорсэ. Биографический очерк Литвиновой (издание Павленкова) является компиляцией.

Марксистских работ о Кондорсэ нет. Между тем Кондорсэ как философ, социолог, политический деятель, ученый представляет большой интерес. Этот интерес усиливается тем, что Кондорсэ жил и боролся в бурную эпоху, когда французская буржуазия с оружием в руках боролась с феодальным режимом за утверждение своего господства.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

1. Августин (354—430)—  
96, 156
2. Аврелий Марк (121—  
180)—88
3. Агрикола (1490—1555)—  
150
4. Александр Македонский  
(356—323 до н. э.)—53,  
75, 96, 111
5. Анаксагор (500—428 до  
н. э.)—60
6. Апеллес (IV в. до н. э.)—  
69
7. Аристотель (384—322 до  
н. э.)—67, 71, 75, 76,  
79, 80, 84, 92, 112, 122,  
134, 140
8. Аристофан (ок. 450—  
380 до н. э.)—58
9. Архимед (287—212 до  
н. э.)—73, 74, 75, 111, 134
10. Бейль (1647—1706)—175
11. Беккария (1738—1794)  
—181
12. Боккаччо (1313—1375)—  
117, 125
13. Болингброк (1678—1751)  
—175
14. Бэкон Фр. (1561—1626)  
—157, 158
15. Васко де Гама (1469—  
1524)—134
16. Вильеф (1320—1384) —  
121
17. Вергилий (70—19 до  
н. э.)—96, 213
18. Витт Жан (1625—1672)—  
169

19. Вольтер (1694—1778)—  
     175, 212, 213  
 20. Галилей (1564—1641)—  
     149, 150, 156, 157, 158  
 21. Галлер (1708—1777)—200  
 22. Гаррингтон (1611—1677)  
     —144  
 23. Генрих VIII (1491—1547).  
     139  
 24. Гераклит (540—480 до  
     н. э.)—53  
 25. Геснер (1516—1565)—150  
 26. Гиппарх (р. II в. до н. э.)  
     —75  
 27. Гиппократ (серед. V в.  
     до н. э.)—63, 75, 134  
 28. Гоббс (1588—1679)—145  
 29. Говард (1726—1790)—  
     181  
 30. Гомер—легендарный ав-  
     тор «Илиады» и «Оди-  
     ссеи»—69, 111  
 31. Гракхи (II в. до н. э.)—88  
 32. Гус Ян (1369—1415)—137  
 33. Гюйгенс (1629—1695)—  
     191  
 34. Д'Аламбер (1717—1783)  
     —193  
 35. Данте (1265—1321)—125  
 36. Декарт (1596—1650) —  
     56, 157, 158, 159, 169,  
     170, 189, 191, 194, 195  
 37. Демокрит (460—370 до  
     н. э.)—56  
 38. Демосфен (384—322 до  
     н. э.)—69, 78, 96  
 39. Диофант (III в.)—24,  
     134  
 40. Елизавета (1533—1603)  
     —139
41. Зенон (ум. ок. 264 до  
     н. э.)—83  
 42. Иероним (XIV—XV вв.)  
     —96  
 43. Карл V (1500—1558)—  
     138  
 44. Кеплер (1571—1630) —  
     149, 150, 191  
 45. Кир (VI в. до н. э.)—54  
 46. Коллинз (1827—1876)—  
     175  
 47. Колумб (1446—1506)—  
     135  
 48. Константий (274—337)  
     —93  
 49. Коперник (1473—1543)  
     —149  
 50. Корнель (1606—1684)—  
     151, 212  
 51. Ксенофонт (434—359 до  
     н. э.)—84  
 52. Ланге (1670—1744)—144  
 53. Лейбниц (1646—1716)—  
     173, 190  
 54. Ливий Тит (59 до н. э.—  
     17 н. э.)—96  
 55. Локк (1632—1704)—166,  
     170, 171  
 56. Лукреций (98—55 до  
     н. э.)—85  
 57. Лютер (1483—1546)—  
     137  
 58. Люций (IV в. до н. э.)—  
     95, 96  
 59. Макиавелли (1469—  
     1527)—145  
 60. Мольер (1622—1673)—  
     212  
 61. Монтескье (1689—1755)  
     —175

62. Мор (1478/1480—1535)—  
     145  
 63. Нерва (33—98)—88  
 64. Нума (VI в. до н. э.)—85  
 65. Ньютон (1643—1727) —  
     56, 190, 191, 192, 213  
 66. Палисси Бернар (1510—  
     1569)—150  
 67. Перикл (500/490—429  
     до н. э.)—60  
 68. Петрарка (1304—1374)—  
     125  
 69. Пиндар (522—448 до  
     н. э.)—69  
 70. Пифагор (VI в. до н. э.)  
     —46, 56, 57, 63, 75  
 71. Платон (427/428—347 до  
     н. э.)—60, 61, 64, 67, 69,  
     71, 78, 79, 84, 89, 91, 92,  
     111  
 72. Плиний (23—79)—77  
 73. Плутарх (ок. 46—120)—  
     95  
 74. Поп (1688—1744)—213  
 75. Пристли (1733—180)—182  
 76. Прокл (410—485)—111  
 77. Птоломей (династия,  
     царствовавшая в Египте  
     с 323 по 30 до н. э.)—73  
 78. Птоломей (1-я полов.  
     II в.)—149  
 79. Расин (1639—1699)—212  
 80. Рафаэль Санти (1483—  
     1520)—212  
 81. Рей Жан (1773—1849)—  
     151  
 82. Руссо (1712—1778)—166  
 83. Сенека (I в.)—85, 89  
 84. Сидней (1622—1683)—  
     166  
 85. Смит (1723—1790)—170  
 86. Сократ (469—399 до н. э.)  
     —58, 60  
 87. Софокл (495—405 до  
     н. э.)—69, 111, 213  
 88. Стюарт (1753—1828)—170  
 89. Тацит (55—120)—96  
 90. Тиберий (43 до н. э.—  
     19 н. э.)—92  
 91. Тюрго (1727—1781)—  
     182  
 92. Фалес (624—548 до  
     н. э.)—63  
 93. Фидий (490/485—432 до  
     н. э.)—69  
 94. Фонтенель (1657—1757)  
     —175  
 95. Фотий (820—891)—110  
 96. Франклайн (1706—1790)  
     —194  
 97. Франциск I (1494—1547)  
     —138, 139  
 98. Фридрих II (1823—1883)  
     —117  
 99. Фукидид (420/450—ок.  
     396 до н. э.)—69, 111  
 100. Цезарь (100—44 до н. э.)  
     —85  
 101. Цицерон (106—43 до  
     н. э.)—85, 88, 91, 96  
 102. Эвклид (315—255 до  
     н. э.)—134  
 103. Эвринид (480—406 до  
     н. э.)—69  
 104. Эдуард VI (1537—1553)  
     —139  
 105. Юлиан (годы правления  
     361—363)—93  
 106. Юстиниан (483—565)—  
     122

## СОДЕРЖАНИЕ

От издательства . . . . .	III
Уведомление . . . . .	1
Введение . . . . .	3
Первая эпоха. Люди соединены в племена . . . . .	17
Вторая эпоха. Пастушеские народы. Переход от пастушеского состояния к земледелию . . . . .	23
Третья эпоха. Прогресс земледельческих народов до изобретения письменности . . . . .	32
Четвертая эпоха. Прогресс человеческого разума, в Греции до времени разделения наук в век Александра . . . . .	53
Пятая эпоха. Прогресс наук от их разделения до их упадка . . . . .	71
Шестая эпоха. Упадок просвещения до его возрождения ко времени крестовых походов . . . . .	100
Седьмая эпоха. От первых успехов наук в период их возрождения на Западе до изобретения книгопечатания . . . . .	115
Восьмая эпоха. От изобретения книгопечатания до периода, когда науки и философия сбросили иго авторитета . . . . .	128
Девятая эпоха. От Декарта до образования французской республики . . . . .	159
Десятая эпоха. О будущем прогрессе человеческого разума . . . . .	220
Библиографическая справка . . . . .	259
Именной указатель . . . . .	262



---

Сдано в набор 29/V 1936 г.      Подписано в печать 15 X 1936 г.  
ОГИЗ № 1745. Заказ № 758      Тираж 20.000 экз. Формат бумаги  
72×105<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> п. л. 48 576 зн. в п. л. Уполн. Главлита № Б 26105.  
Цена книги 3 руб. 25 коп. Переплет 1 руб. 50 коп.

---

16 тип. треста «Полиграфніга», Трехпрудный, 9.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
17	6 сн.	ки	он
19	5 сн.	го	его
108	11 сн.	воинным	воевным
112	6 сн.	вместе тем	вместе с тем
173	11 сн.	этот	это
183	11 сн.	представлялась	представлялась
193	8 сн.	точек, для движущихся	точек, движу- щихся
264	8 сн.	15°9	1589
264	16 сн.	180	1804

Кендорс Ж. А.